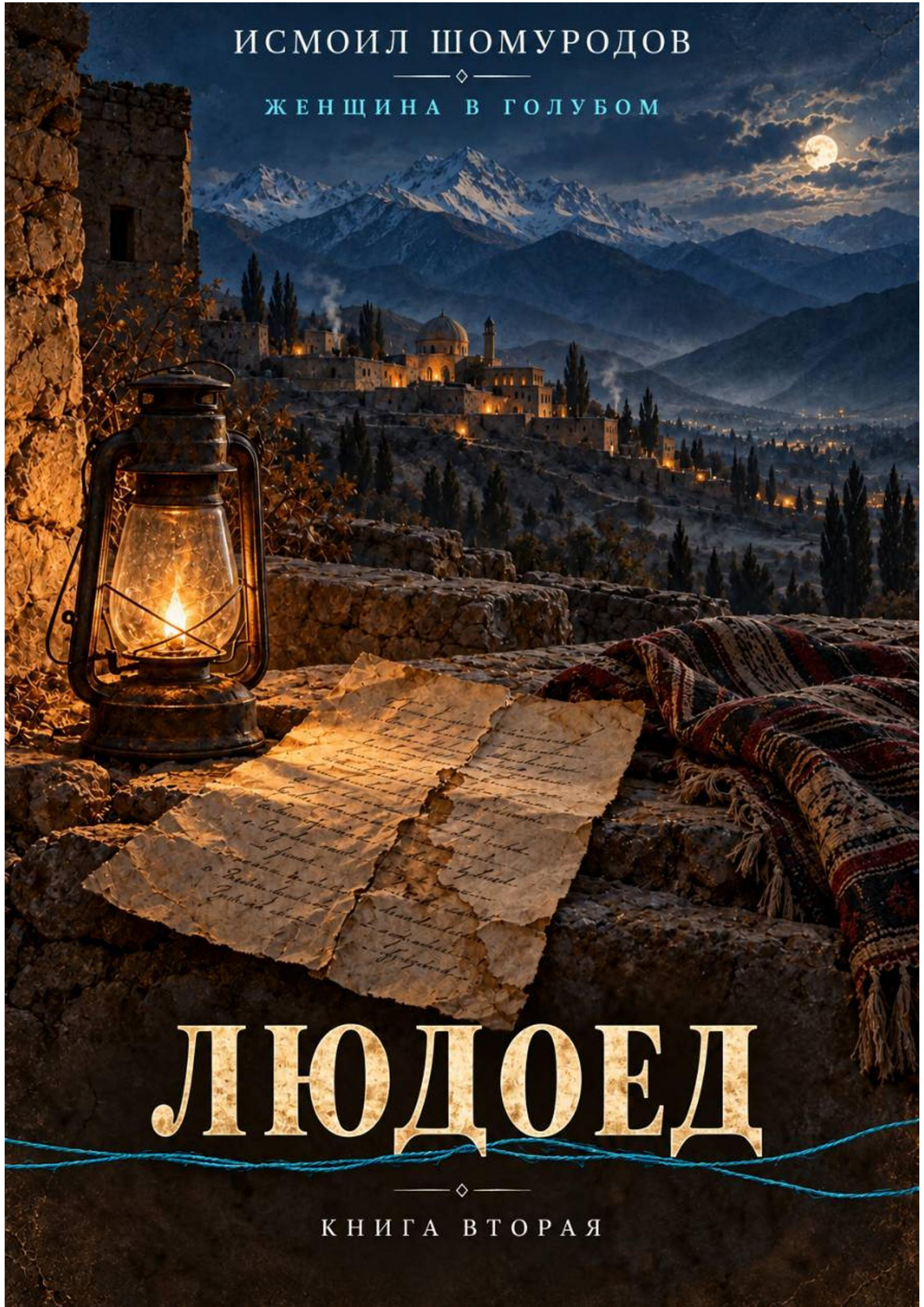


ИСМОИЛ ШОМУРОВ

ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ



ЛЮДОЕД

КНИГА ВТОРАЯ

Исмаил ШОМУРАДОВ

**ЖЕНЩИНА В
ГОЛУБОМ. ЛЮДОЕД**

«Автор»

2026

ШОМУРАДОВ И.

**ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ. ЛЮДОЕД / И. ШОМУРАДОВ —
«Автор», 2026**

Война закончилась, но для жителей горного кишлака Гултепа мирная жизнь не стала избавлением от бед. Вернувшийся с фронта Ёдгор сталкивается с несправедливостью, перед которой бессильны пережитые испытания. Спустя десятилетия давние обиды вновь вторгаются в судьбы его потомков. «Людоед» — вторая книга романа Исмоила Шомуродова «Женщина в голубом». Это история о любви и предательстве, цене молчания и времени, которое продолжает пожирать человеческие жизни даже после войны

© ШОМУРАДОВ И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
Начало 40-х годов XX века	11
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Исмаил ШОМУРАДОВ

ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ. ЛЮДОЕД

КНИГА ВТОРАЯ

ЛЮДОЕД

И волками были,

Раздирали себя от горя.

Плакали, стеная, бродили,

И слёз у них было вдоволь.

Махмуд Кашгари, «Диван лугат ат-турк»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Конец 80-х годов XX века.

Право же, такую нелепицу услышал впервые в жизни. Ведь я десять лет учился в средней школе № 48 имени Николая Островского.

Махамат-ака¹ сказал Турди-ака: «Ты сын моего отца».

Для человека, который сам уже дед и которому под пятьдесят, – разве это разговор? Знаю, мальчишки, шутя или ссорясь, не жалеют подобных словечек, но, чтобы взрослый, в большом кругу людей, в серьёзный момент, при решении жизненного вопроса – и такое сказать... Это уже ни в какие ворота не лезет. Говорят, оба они росли сиротами, без отцов. И вдруг – поминать отца, которого сам не знал, не видел, не помнил. Странно.

Скандал разразился тогда, когда люди собрались вместе, чтобы решить судьбу одной любви. Не будь этой любви, и ссоры бы не было, и никто бы не вспомнил, кто чей сын.

Увы, старые раны вскрылись, и при моём косвенном участии всё это обернулось трагедией...

Дожив до этих лет (не то чтобы я успел жизнь прожить и всё повидать, но, во всяком случае, себя уже помню; даже, говорят, можно было бы меня и женить – только вот ни мать, ни отец пока об этом ни словом), – так вот, за всю жизнь я не встречал такой тонкой, такой нежной любви. Известно, ведь: законы любви для всех разные. Для того, кто любит, она – как подснежник, хрупкая и прекрасная, как родниковая вода – чистая и сладкая, как молодой месяц – тихая и загадочная. А для посторонних она кажется дурманящей, бестолковой, мутной, как застоявшаяся лужа, холодной и неприятной, как зимний мороз, от которого дохнут ослы. Любовь никогда не выглядит одинаково для всех.

Но любовь этих двоих меня поразила – мне она казалась такой же чистой, как и мои собственные чувства.

Иногда я думаю: не грубоваты ли у нас в деревне люди – особенно в вопросах любви? Стоит кому-нибудь передать девушке клочок письма или поговорить с ней на улице чуть дольше обычного, как слухи эхом разносятся до самой пустыни за двумя оврагами: «Сын такого-то заглядывается на младшую дочь такого-то», «Такой-то, говорят, письмо передал». И что с того? Большинство из этих людей в последний раз писали своё имя ещё в десятом классе, на выпускных экзаменационных бланках, – вот и считают письмо событием мирового значения.

Я ведь заочно учусь в Ташкенте, кое-что видел, слышал – такого, что уши краснеют. Случись у нас хотя бы сотая доля того, о чём там говорят, – наши люди полвека, а то и больше, не умолкали бы. И ведь правда. Была у нас когда-то старуха по имени Жамил-момо². То ли в молодости она пару раз ходила с басмачами, то ли это была людская клевета, – но про её «подвиги» знал каждый, хотя самой ей было уже под девяносто.

Как я уже говорил, в те времена я не жил, не видел, не знаю – и судить не берусь. Единственный, кто мог бы прояснить это, был Раззок-бобо³, но его давно нет в живых. И, если честно, в его смерти есть и моя вина. Тогда мы нашли на окраине деревни человеческие кости и принесли их к нему домой. Не прошло и двух недель, как он, не болея, внезапно умер. Говорили, увидев те кости, он словно лишился рассудка: всё бормотал что-то непонятное, по ночам бредил. Вреда никому не причинял – лёг спать вечером и утром не проснулся. Так, без мучений,

¹ Ака — старший брат; уважительное обращение к мужчине старше себя.

² Момо — бабушка; уважительное обращение к пожилой женщине.

³ Бобо — дедушка; уважительное обращение к пожилому мужчине.

уходят, наверное, только самые безобидные, самые невинные люди. И правда, он никому зла не делал, никого не обижал, язык у него был мягкий, ласковый.

Помню, как, увидев кости, он побледнел и что-то тихо сказал, а я, дурак, не прислушался. Лишь потом, когда он умер, до меня дошло, как дорого человеку внимание к другому человеку. Понял смысл слов: человек человеку – дар. Когда человек уходит, его уже ничем не вернёшь...

После его смерти я несколько дней ходил в страхе – думал, его дети схватят меня за ворот. Но этого не случилось. В деревне поговаривали о нашем неразумном поступке – и только.

Есть у нас ещё одна старуха – Матлуба-момо. Говорят, она приехала в деревню невесткой очень давно. Судя по её сморщенному лицу и возрасту под девяносто – это было много лет назад. Возможно, тогда ещё и мой отец не родился. Говорят, она почти ровесница Жамил-момо. Но о ней – ни одного дурного слуха.

В общем, хотел сказать вот что: при всей строгости наших деревенских нравов, кое-какие вещи здесь не забываются.

Речь шла о Нурбеке и Дилфузе.

Да, так их и звали. Они учились на класс старше нас и ещё в школе полюбили друг друга. Когда нас отправляли на хлопок в сторону Джамбая⁴, я, глядя на их отношения, поражаюсь, что люди могут так искренне любить. В те годы я думал, что на такую чистую любовь способны только я да герои книг.

На хлопке сразу видно, кто есть кто: кто неженка, кто терпелив, кто плакса, а кто поминутно бежит отлить (да, и такие бывают). Я любовался, как они собирали хлопок друг для друга, как сидели, словно безобидные голубки, ни к кому не лезли, никому не мешали, тихо разговаривали. И мне хотелось, чтобы и у меня была такая знакомая девушка: чтобы я относился к ней, как Нурбек к Дилфузе; чтобы мы вместе собирали хлопок, я носил бы мешки на весы (мешки, а не девушку, разумеется), а она всё время что-то рассказывала бы мне, не давала бы молчать, толкала бы локтем, чтобы я слушал...

Мне казалось, что на это годилась только Малика. Но она была молчалива, словно воды в рот набрала. А у меня, стоило подойти к ней, язык каменел. Пытаюсь что-то пробормотать – голос выходит таким грубым, будто глушиитель у трёхколёсного «Муравья»⁵ Ильхома отвалился. И, что хуже всего, слова получаются бессмысленные. Я сам не понимаю, что говорю, не то, что она. Так и прошла вся моя юность – в борьбе с самим собой.

В Ташкенте я заочно учусь на историческом факультете пединститута, первый курс. Это к делу не относится – просто захотелось похвастаться. До сих пор не верится, что, вернувшись из армии, я поступил учиться. Хожу, словно ещё не приземлился с небес.

Армию вспоминать не люблю. Пока я там с оружием в руках «защищал Родину» (не всё же время в кухонном наряде был – и караулы на гауптвахте стоял), здесь Малика успела выйти замуж.

Говорят, на поминках каждый плачет о своём. Вот и я хотел писать о любви Нурбека и Дилфузы, а опять ушёл в сторону.

Их чистую любовь, мне казалось, уважали многие, но и тех, кто норовил облить её грязью, хватало. Разные разговоры ходили – только на них это не действовало.

И вот весной, когда по деревне разливался мягкий ветерок любви, когда молодёжь начинала готовиться к свадьбам, когда парни, давно бившиеся за девичьи сердца, по ночам, как мартовские коты, были на улицах и свистели, – в этот самый момент жизнь Нурбека и

⁴ Название района.

⁵ Название мотоцикла.

Дилфузы подошла к переломной черте. К дому девушки начали наведываться сваты. Нурбек понял: пришло время действовать, хотя он знал, что отцу свадьба не по карману.

Вся кутерьма началась отсюда. Махамат-ака, хоть и держал дочерей вольно, категорически воспротивился браку Дилфузы с Нурбеком.

Много лет назад между их семьями произошла какая-то ссора. Что именно – никто не помнил. Люди, способные помнить любовные истории Жамил-момо семидесятилетней давности, об этом молчали. Вражды явной не было – просто холодок, отсутствие тепла.

Говорили, что мать Нурбека ходила свататься, а Махамат-ака ответил: «Нет у меня для вас дочери».

Махамат-ака – наш сосед, ему скоро пятьдесят. Голову он всегда бреет наголо; усы густые, наполовину седые, а борода с проседью почти всегда отросшая. Если в деревне или где-нибудь поблизости намечается знатная свадьба – с вечерним пиром, – он начисто сбривает и волосы, и бороду. Мужчина он крепкий; чаще всего ходит в коричневом кримпленовом костюме, когда-то модном: от бесконечных стирок подкладка истлела, а сам костюм сел, и полы сморщились, подобрались.

Он вырос сиротой: отец умер то ли во время войны, то ли уже после. Говорили, отец был грозным человеком – из тех, у кого с кнута кровь капает; служил то ли председателем, то ли другим начальником. И вот у такого отца остался такой сын. Впрочем, характер есть и у него: рассердится – никого не пощадит. Но чаще живёт тихо и никому зла не делает. Может, сиротство научило его смирению. Подробностей отцовской истории я не знаю и не интересуюсь ими: сколько в деревне людей, столько и историй. Если каждой заинтересуешься, на собственную жизнь времени не останется (а там, на истфаке, преподаватели и без того голову морочат: изучай всемирную историю, историю КПСС, историю СССР). И вот этот человек решительно против того, чтобы дочь вышла за Нурбека.

Дилфуза – средняя из детей. После неё ещё две девочки и младший брат. Всего в семье семь дочерей, и только самый младший – сын; он ещё маленький, ему восемь лет.

Она была работящая, проворная – руки не знали покоя. Мать всегда ставила её мне в пример, желая пристыдить. Только, говоря «твоя ровесница», мать ошибалась: мои возражения, что я учился на класс ниже, она и слушать не хотела, а ещё сердилась: «Кто лучше знает – я, которая тебя родила, или ты?» Любопытно: кто из нас в школу-то ходит – я или мама?!

В детстве мы с Дилфузой играли в хаппак и чиллик⁶ – и она играла лучше меня. Но с годами между нами будто выросла стена, разговоров почти не осталось.

Однажды, когда эти разговоры разошлись по деревне, я вышел на улицу, чтобы пригнать домой скот, возвращавшийся со стадом. Мимо прошла Дилфуза с ведром.

– Ну что, – сказал я, пожимая ей руку, – говорят, свадьба намечается, повеселимся?

Дилфуза и впрямь заслуживала маминых похвал: труд её закалил. Смуглая – в детстве совсем чернявая, а теперь, повзрослев, стала пшеничного оттенка; глаза большие, кожа гладкая, без пятнышка, лицо округлое, руки полные, хотя сама она вовсе не толстая. Длинные чёрные волосы заплетает в одну косу. Чёрные брови тонкие, изогнутые дугой (выщипывает она их или они сами такие – не знаю). Главное – её стать: прямая, как самишит, и при этом никогда не кажется, будто она нарочно держится горделиво. Под платьем не выпирает животик, как у нас принято и считается признаком красоты (в отличие от моего приятеля Толиба, я женицин с животиком не люблю); только полная грудь колеблется при движении. Сам я, конечно, не трогал, но на вид кожа у неё тугая и упругая.

Дилфуза!

Удивительно красивая девушка!

⁶ Чиллик — детская игра.

– И ты туда же... Свадьбы не будет, – печально сказала она своим звонким, как колокольчик, голосом.

– Почему? Нурбек провинился? Скажи – я его проучу.

– Я замуж не выйду. Хочу прожить свободной.

– Не говори глупостей. Не слышал я, чтобы женщина век одна прожила.

– Говорят, у Шодикул-бобо была сестра – так и не вышла замуж.

– Ты не равняйся на исключения.

– Отец не разрешает, – сказала она.

И я понял: у неё на душе тяжело, а поделиться не с кем...

Я понял это и решил воспользоваться моментом.

– Почему? Есть причина?

– Не знаю. Говорит: «Не отдам – и точка». Я никогда не видела отца таким разгневанным. Даже когда мой брат пустил нашего бычка на люцерну и тот, объевшись, издох, отец не рассердился – только махнул рукой: «Скот найдётся». А вот к моей судьбе относится так...

От её печального голоса у меня сжалось сердце, и, чтобы её приободрить, я пошутил:

– Эх ты, сравнила себя с бычком! Цены себе не знаешь...

Глаза у Дилфузы вспыхнули. Я поспешил смягчить разговор:

– Да в деревне ведь не один Нурбек. Найдёшь другого. Если кого приглядела – скажи, я к ишану схожу – пусть сделает приворот, через два дня будет у вашего дома круги наматывать, всем на нервы действовать – вот увидишь.

– Перестань шутить. Я тут, можно сказать, умираю, а ты смеёшься. Я что, легкомысленная, чтобы: этот не вышел – другой подойдёт?

– Ну, жизнь ведь требует своего. Девушке тоже не годится хвататься за одного парня с криком: «За него и только за него!»

– Кто тебе сказал, что я за него собираюсь?

– Как это? – удивился я. – Ты же сама только что сказала. Или я оглох?

– Я сказала, что ни за кого не выйду.

– Значит, я неправильно понял...

– Не переводи разговор в пустяки. Обидно то, что меня не считают за человека. Разве я не вправе сама решать, что мне делать? Раз уж меня на этот свет привели, значит ли это, что теперь надо мною можно распоряжаться, как им вздумается? Это ведь моя жизнь, я её проживу, а не отец, каким бы добрым и заботливым он ни был...

В школе она училась на отлично – вот откуда такие высокие речи.

– Не переживай. Сама жизнь понемногу выведет на дорогу, – пробормотал я, не зная, что сказать. – Одной любовью жизнь не кончается. По-моему, в жизни это не самое главное. Сколько их – любят друг друга, клянутся, а потом выходят замуж за других, женятся на других, и никто не умер. Через год-другой уже детей рожают. После такого и в любовь верить перестаёшь. Хоть бы с детьми не спешили, думаю я иногда.

– Не ставь меня в один ряд с другими.

Дилфуза раскрыла мешок своих обид и стала выговариваться, а у меня в голове вертелось другое: как бы скотина не вернулась и не вытоптала помидоры во дворе. К счастью, стадо ещё не подошло. А то впереди всех вваливалась бы трёхлетняя тёлка Ориф-ака, а за ней ещё с десяток бычков.

Уже почти месяц в деревне из-за этого нет покоя: соседи ругают скотину. Не потому, что не могут её удержать, а потому что, как только тёлка вбегает в свой загон, остальные бросаются кто в табачное поле, кто в кукурузу, кто во двор – куда придётся, лишь бы поживиться. Всё вытаптывают.

– Так и дальше пойдёт – не знаю, смогу ли я жить, Бахти, – сказала Дилфуза, и голос её задрожал.

– С кем? – по-глупому переспросил я, не поняв смысла.

– Я в этой жизни лишняя, – пояснила она. – Только никому не говори. Но мне почему-то хочется себя сжечь. Надоела жизнь. У тебя так не бывает? Вроде бы всё на месте, всё как надо, а на душе тоска, и всё спрашиваешь себя: зачем я вообще живу?

Я растерялся. Не знал, чем её успокоить. Такая красивая, с такими живыми, притягательными глазами – и вдруг поджечь себя? Я опять попытался обратить всё в шутку:

– Я ведь замуж ещё не выходил, таких мыслей у меня не бывало. Наверное, не могу понять, что чувствует девушка на выданье.

– Ой, кроме пустых слов от тебя ничего и нет, – Дилфуза натянуто улыбнулась, потом снова посерьёзнела. – Вот в этом и дело: меня никто не понимает. Я лишняя. Неужели никто не подумает: «И она человек, и её, наверное, что-то мучает, и у неё в душе что-то есть – давай послушаю»?

В её глазах я увидел такую бесконечную печаль, какую никогда прежде не замечал в чьём-либо взгляде. Казалось, стоит мне сказать пару слов – и она разрыдается. Я колебался: хотел утешить, но не находил слов. Сказать: «Твой отец плохой человек»? А молчать – значит не дать ей того тёплого слова, которого она ждала.

– Всё образуется, – сказал я. – О таком, как самосожжение, и думать нельзя. Это никому ещё пользы не принесло. Слышала, в пятидесятые дядя Тилова с молодой женой подожгли себя. Оба погибли – кому от этого легче?

– Иногда кажется, что лучше умереть. Какой смысл жить в этом чужом, холодном мире?

– Смысл ещё найдётся...

Дилфуза, приняв мои искренние слова за пустую болтовню, подхватила вёдра и ушла, даже не попрощавшись. А может, слёзы уже катились у неё по щекам, и она не хотела, чтобы я это видел. Я оказался никудынным собеседником: она раскрылась передо мной, а я только усугубил её состояние своей бессвязной болтовнёй. Тревога осталась в душе.

...После этого я много ночей не мог уснуть. Её слова не давали мне покоя. Мне хотелось помочь ей, уберечь от беды, но как? Кому сказать? Что сказать?

В последующие два месяца это стало для меня самой большой проблемой.

Начало 40-х годов XX века

Человек, оказывается, ко всему привыкает. Люди покорно приняли судьбу, приговаривая: «День такой, жизнь такая». Они смирились с тем, что на их долю выпали голод и унижение, будто так и должно быть, будто иного пути не существует.

Перевернутая политика велась уже давно. Смысл и цель этих преобразований жители так и не поняли за долгие годы; казалось, государство делает всё возможное и невозможное, чтобы гултепинцы жили как можно хуже, будто в Москве ломали голову: что бы ещё придумать, чтобы и без того тяжёлое положение этой деревни стало ещё тягостнее.

И люди в это поверили.

Ко всякой беде человек привыкает, приспосабливается к жизни – нужно лишь немного времени и чуть больше терпения. А тем, у кого не хватало ни терпения, ни выдержки, оставалось, как пассажиру, сошедшему с телеги на полпути, – пропасть посреди дороги.

Поколение, выросшее после Гражданской войны, жило ради какого-то огромного, небывалого опыта. Их судьба оказалась игрушкой в руках руководителей, которые, придумав государственное устройство, не имевшее аналогов в мировой истории, сами толком не знали, куда дальше идти. Эти люди походили на отару, пущенную вперёд пастуха, который не знает ни дороги, ни цели. И деревня жила так же – как соломинка в безбрежном море, ничего не понимая. Им и в голову не приходило, что на их долю выпало стать живым полигоном для идей, не продуманных до конца.

Когда-то вокруг деревни шумели огромные, густо-зелёные сады. Они были частной собственностью: каждый хозяин ухаживал за своим участком, и с этого кормилась семья. С установлением советской власти и началом коллективизации сады перешли в распоряжение государства, урожай стали сдавать в казну. Поначалу за садами по-прежнему ухаживали их прежние владельцы – они всё ещё считали себя хозяевами. Но для государства они были всего лишь садовниками и сторожами. На «сторожей» возложили обязанность сдавать определённое количество плодов. Год за годом они отдавали урожай и оставались ни с чем.

Постепенно люди перестали смотреть за садами. В лютые зимние дни деревья рубили на дрова, топили ими тандыры и очаги, возили продавать на Ургут⁷ и Жумабазар⁸. К началу Второй мировой войны сады почти полностью высохли. Вокруг деревни раскинулись голые поля.

Только мирзы – их стали называть «худжатуп»⁹ – сумели сохранить на приличной площади виноградники и, как ни было трудно, выполняли план по сдаче изюма. Говорили, что у них есть знакомые в районе: землю им записывают меньше, чем есть на самом деле, и за счёт этого они что-то получают с сада. У остальных таких знакомых не было.

На холмах вокруг деревни сеяли только пшеницу. Ниже – хлопок. Но из-за нехватки воды урожаи были скудные.

К этому времени сама деревня изменилась. Один из домов в центре, принадлежавший мирзам, отобрали, кое-где сломали, кое-где пристроили – и превратили в колхозную конюшню. По хашару¹⁰, в двухстах шагах от неё, построили школу.

Промежуток между коллективизацией и началом Второй мировой стал для этой деревни временем относительного покоя. Репрессии, которые обрушились на большие города и стали одной из самых страшных трагедий той эпохи, сюда почти не дошли. Да и при чём тут было

⁷ Небольшой городок.

⁸ Местный рынок.

⁹ Худжатуп — община большого рода или семейной группы.

¹⁰ Хашар — совместная работа жителей в помощь семье или общине.

репрессировать – ни заметных интеллигентов, ни начальства здесь не водилось. Люди лишь изредка слышали, что каких-то крупных чиновников разоблачили как врагов народа, и дружно их проклинали. Эти политические игры до уровня деревни не опускались.

После Гражданской войны и коллективизации люди некоторое время жили относительно спокойно, привыкли к новым порядкам. В деревне даже открылся магазин, появилось больше товаров, денежное обращение постепенно налаживалось.

Разве что в середине тридцатых несколько парней ушли на заработки в сторону Дайрао-бада¹¹ – чтобы добыть деньги на непомерные налоги – и там умерли. Но в целом больших бед не было.

Люди постепенно свыклись с тем, что лишились своих садов, привыкли к новой жизни – и тут где-то далеко, в Европе, началась война.

За прошедшие пять–десять лет выросло поколение, привыкшее к миру и относительной сытости. Даже старики понемногу забыли прежние потрясения. Но война, а точнее – призыв мужчин, новые налоги, принудительное изъятие продуктов и лошадей – снова посеяли тревогу.

У стариков ожили в памяти страшные дни голода. К этому времени Раззок-ака, уже женатый и с детьми, по многим признакам чувял надвигающуюся беду.

– Хлеб становится всё слаще – значит, голод не за горами, – говорил он за едой своим домашним.

– Вши расплодись – к неурожаю, – повторял в другой раз.

На западной окраине деревни, в лачуге, которая и во времена Гражданской войны была жалкой, а теперь и вовсе обветшала, жила Ойсара-момо со своей невесткой Матлубой, внуком Ёдгором и его молодой женой Ризвон. Сына Ойсары, Гадоя-муллу, в смутные годы кто-то застрелил, и старуха осталась одна. Так она прожила два-три года.

Потом прошёл слух, что в Суфикишлаке¹² у жены муллы родился сын. Ойсара разузнала, что невестка всё ещё одна и замуж не собирается, и решила забрать её к себе. Ездил к ней несколько раз. Дело было щекотливое, и вмешались старейшины. Особенно хлопотал старик Сотим из Суфикишлака: говорил горячо, что ребёнок должен расти на земле отца, продолжать его дело. Уговаривал Матлубу.

В тех краях права женщины были невелики – судьбу Матлубы решили, исходя из интересов её сына. Родина Ёдгора – Гултепа¹³. Если он останется в Суфикишлаке, каждый, кому не лень, будет попрекать его, считать чужаком. А в Гултепе он вырастет среди своих. Так Матлуба с двухлетним сыном перебралась в дом Ойсары.

Была и ещё причина: мать Матлубы умерла, сёстры подросли, двор стал тесен, и Матлуба с сиротой-сыном чувствовала себя лишней.

Поначалу ей было трудно привыкнуть к новому месту. Переехать вслед за мужем или родителями – понятно. Но ехать вслед за двухлетним ребёнком? Оказывается, можно. В этих краях права двухлетнего мальчика ценились выше, чем права семидесятилетней женщины.

Ойсара смирилась с тем, что ей суждено жить с невесткой, и они нашли общий язык. Матлуба была не такой, как прежняя невестка – Нисо: резче, прямолинейнее, но работающая, неутомимая.

Прошло почти двадцать лет. Ёдгор вырос – широкоплечий, крепкий, весь в мать: смуглый, с густыми чёрными волосами и большими глазами.

За год до войны, осенью, он женился. А в середине лета, когда война уже началась и объявили всеобщую мобилизацию, его забрали. В тот день из деревни ушли на фронт четырнадцать мужчин – от совсем юных до тех, кому уже перевалило за сорок, как Надир и Пайзи.

¹¹ Долина.

¹² Суфикишлак — название селения.

¹³ Гултепа — название селения.

Деревня в тот день превратилась в сплошной плач. Женщины и девушки с причитаниями провожали мужчин до самого места, где заканчивалась деревня, – до двора мирзо. Их рыдания слышались, пока призванные не дошли до соседнего села Мерганча.

Ёдгор, впервые покидая родные места, долго оглядывался назад. Он не мог оторвать взгляда от Ойсары-момо, от матери, от молодой жены Ризвон, от пыльных улиц родной деревни, от домов с высохшей травой на крышах. Смотрел так, будто видит всё это в последний раз. В душе у него что-то оборвалось. Жена была на седьмом месяце, и он уходил, даже не зная, родится у него сын или дочь.

– Сынок, – сказала ему Ойсара, прощаясь. – Я уже стара, доживу ли до твоего возвращения – одному Богу известно. Но будь крепок. О жене не тревожься, всё будет хорошо, родит благополучно. Мы присмотрим.

Старуха хотела ещё попросить у него прощения за всё – но осеклась: не нагонит ли этими словами ещё большую тоску на сердце уходящего на войну?

Бабушка крепко прижала к себе внука. В памяти всплыл её сын – Бозор, и сердце болезненно жалось: неужели и этому мальчику уготована отцовская судьба? Неужели и он не вернётся?..

С этой тревогой она долго не могла отпустить Ёдгора.

– Катэна¹⁴, если родится сын, назовите его Голибом, – сказал Ёдгор, стараясь держаться бодро. – Вернёмся победителями.

– Обязательно! – ответила она, с трудом сдерживая слёзы.

Среди призванных был и Мамат – сын мельника Туйчи. Он был единственным ребёнком Туйчи от Жамил. Когда мальчик только родился, Туйчи вскоре застрелили прямо на мельнице. Немного погодя Жамил с маленьким сыном вышла замуж за местного человека по имени Кора-вой. Мамат рос в доме отчима, среди сводных братьев, тихим, замкнутым мальчиком. Отчим и братья часто одёргивали его, почти не давали ему покоя.

Светловолосого, ладного, высокого Мамата особенно полюбил Санокул ака. Он старался по возможности оградить его от обид, подзывал к себе, с малых лет приглашал в дом, баловал. Односельчане не придавали этому большого значения, им и в голову не приходило, что за этим может скрываться какая-то тайна.

А у Санокул аки в душе жила своя надежда: «А вдруг этот мальчик – мой внук, сын моего рано ушедшего сына?..» Он никому не смел открыть эту мысль. Мамат постоянно казался ему похожим на Комила. Ведь ни Жамил, ни Туйчи не были светловолосыми – откуда же тогда такой ребёнок?

С этой тихой надеждой Санокул ака прожил и ушёл из жизни.

Мамат два года назад женился, у него уже двое детей. Сейчас он крепко прижимал к груди своего годовалого малыша, который, не понимая происходящего, заходился плачем от скопления людей. Мамат не хотел его отпускать. Сердце его словно что-то предчувствовало...

Нодир же прощался с каждым из своих пятерых детей по отдельности. Сначала с годовалым Тешей, который плакал на руках у матери, затем прижал к себе ласкового, говорливого Малика. Поцеловал в лица двух дочерей. Дети не понимали смысла происходящего, но по тому, что плачут все – и взрослые, и малыши, – чувствовали: случается что-то страшное.

Под конец Нодир крепко обнял старшего сына – пятнадцатилетнего, ещё с тонким, почти девичьим голосом, худощавого и невысокого Нормуро-да. На глазах его выступили слёзы.

Нодир вырос сиротой и хорошо знал, какое место в жизни занимает отец, и что его не заменит никто. Даже став взрослым, обзаведясь семьёй, он часто тосковал по отцу, ждал хоть одного его совета. И теперь мысль о том, что и его сын может оказаться в таком же положении,

¹⁴ Катэна — бабушка.

разрывала ему сердце. Неужели все унижения и страдания, что выпали на его долю, ждут и Нормурода?

И вдруг он понял то, чего раньше не замечал: этот мальчик, у которого ещё молоко на губах не обсохло, стал для него самым близким человеком, почти как отец. Он ждал от сына того тепла, которого сам недополучил в детстве. И поразился, что до сих пор не осознавал этого. Осознал лишь теперь – отправляясь в путь, откуда возвращаются не все.

Столько лет они жили рядом, и всё казалось естественным: сын терпел его окрики и строгость, а он считал своим долгом ругать и приучать к труду. Всё это представлялось ему обычным порядком вещей. И только сейчас он понял, что это вовсе не обыденность, а дар Божий, который могут в любой момент отнять за неблагодарность. Он вспомнил, как сердился на детскую беспечность сыновей, и понял, каким счастливым был в те минуты.

Он с горечью осознал ещё одно: сам вырос без отца, без ласки – и потому считал, что и дети должны расти так же, что им тоже полезно испытать тяготы жизни. Теперь он понял: его долг был не в том, чтобы приучить их к трудностям, а в том, чтобы по возможности уберечь от них.

– Сынок, не забывай, – сказал он, не выпуская Нормурода из объятий. – Ты из рода минг. Если когда-нибудь тебе понадобятся близкие, родные люди – ищи их по ту сторону Самарканда, в кишлаке Чортут. Может, кто-то нас ещё помнит... Отец в детстве говорил, что все наши родичи живут в тех краях. Я ни разу туда не ездил, во всём полагался только на себя. Видно, такова доля нашего рода – жить, рассчитывая лишь на свои силы. И ты надейся на себя. Но в трудную минуту, думаю, те родичи могут пригодиться.

– Я и сам не знаю, кто они. Отец говорил, что люди они зажиточные. В детстве кто-то из них приезжал к нам, потом, когда отец пропал, их следы оборвались. Я всю жизнь жил с мыслью: если совсем станет немого, пойду к ним – помогу. Отец тоже так жил. Не знаю, может, и тебе придётся жить с такой же надеждой.

– Всё равно человеку легче жить, когда есть на кого надеяться... Отец мой исчез без следа. А я постараюсь вернуться. Знаешь, я до сих пор жду его... Думаю, однажды он вернётся. Мир держится на надежде, сынок. Не падай духом – я вернусь. Будем ещё хорошо жить. Только будь добрым старшим братом для младших. Теперь ты мужчина в доме.

С этими словами Нодир поцеловал сына в лицо. Слёзы текли по его щекам.

Нормурод с детства не знал особой ласки. Нодир воспитывал детей строго. Сам вырос сиротой и считал, что детей надо растить без излишней мягкости, не показывая слабости. Его отец, Бекмурод ака, был человеком суровым и грубоватым, а после войн стал ещё жёстче. Нодир унаследовал его привычки и полагал, что именно так и должен вести себя хороший отец.

Он старался вырастить сына смелым, жёстким. Знал по собственному опыту, что в этом мире мягкосердечным людям трудно выжить. Поэтому дома, в кругу семьи, особенно старшему – Нормуроду – он часто рассказывал о своём отце, о том, каким бесстрашным и отважным человеком тот был, как воевал против «красных». Эти рассказы глубоко запали в душу мальчика.

Но в школе, среди сверстников, он слышал совсем другое. Его нередко дразнили: «потомок басмача». В душе Нормурода рождалась гордость за деда, но показать её он не мог. Он рано привык к двойственности жизни, к её лицемерию, не зная, кому верить.

И сейчас Нодир не забыл напомнить:

– Твой дед был великим человеком, не забывай этого... Не верь тем, кто его очерняет. Человек должен знать семь поколений своего рода – иначе он раб. Когда подрастёшь, поезжай в сторону Чортута, разыщи наших предков. Я сам не смог – теперь жалею. Оказывается, это и было самым главным...

В долгие зимние вечера Раззок-ака, придерживаясь поговорки «человеческую боль унижает человек», собирал всю семью и шёл в гости к Нодирам – посидеть, поговорить, поделиться

тем, что на душе. В свою очередь и они почти через день навещались к нему. После того как Бекмурод ака бесследно исчез, Раззок-ака особенно сблизился с Нодиром. Сначала жалел его, помогал, а потом разница в возрасте будто и вовсе стерлась.

В такие вечера маленький Нормурод носился по комнате с дочерью Раззок аки – Нигорой, они гонялись друг за другом, визжали, шумели, доводя взрослых до усталости.

Почему-то только с этой девочкой Нормуроду было легко, только с ней он играл с утра до вечера. Нодира это злило: он хотел, чтобы сын играл с мальчишками, рос настоящим мужчиной. За это он часто его одёргивал. Но Нормурод всё равно тянулся к Нигоре. И сейчас Нодир вспомнил об этом. И ему стало стыдно.

– И ещё... – сказал он, запинаясь, не зная, как выразить то, что давно тяготило душу. – Я часто тебя ругал. Думал, так и должен поступать отец... Не держи на меня зла за те слова. Если что – прости. Не носи это в сердце всю жизнь... Когда сам станешь отцом – поймёшь... А дочь Раззок аки, если вернусь живым и здоровым, возьму тебе в жёны. Таков мой замысел...

– Не надо... – Нормурод покраснел от смущения. Слова отца растревожили его, но говорить об этом сейчас было неловко: вокруг кто-то плакал, кто-то стоял, опустив голову, кто-то растерянно не знал, что делать.

– Надо, – твёрдо сказал Нодир, будто хотел этим смыть свои прежние ошибки. – Обязательно женишься на ней. Это моё слово!

После смерти старшего в худжатуп – Худжа бобо – его старший сын Матлаб стал не только главой рода, но и главным человеком в кишлаке. Лишь Мавлон почта порой не соглашался с ним и никогда не отступал от своего мнения. Но накануне войны и он, пролежав несколько дней, умер. Вся власть в кишлаке окончательно сосредоточилась в руках Матлаба.

Среди людей ходили слухи, будто своего старшего сына – Маннопа – он не отдаст на войну. Ведь когда-то их предки даже на мардикёрство не ходили, умудрялись посылать вместо себя других. Наверное, и теперь что-нибудь придумают.

Но люди ошибались. Это была другая власть, и каждый теперь отвечал сам за себя. Маннопа оставить не удалось – он ушёл одним из первых.

Смуглый, приземистый, коренастый, лет тридцати, Манноп держался крепко.

У всех четырнадцати мужчин, уходивших на войну, в душе жила одна тревога: вернутся ли они назад? Они помнили, что когда-то ушедшие на заработки в Россию многие так и не вернулись, умерли там, были похоронены без савана. Неужели и им суждено то же? Где она вообще – эта Россия? Люди в Гултепе испокон веков далеко не ездили, лишь немногие бывали дальше Самарканда.

Первый проводы гултепинцев на войну прошли в тяжёлой скорби. Потом ещё не раз будут забирать мужчин, и каждый раз эти проводы будут становиться всё тяжелее и безысходнее – люди будут бежать следом, словно провожают приговорённого к смерти.

Потому что вскоре начали приходить письма о гибели тех, кого призвали первыми.

Ровно через месяц после ухода пришло первое письмо. Тогда ещё никто не участвовал в боях – шли учения. А спустя полгода пришло тревожное письмо от Маннопа.

«Вчера был страшный бой, – писал он после обычных приветствий. – Мамата мы потеряли. Его накрыла бомба. В суматохе не поняли, что стало с Нодир ака, после боя его тоже не нашли. Наверное, погиб. Мы с Ёдгором прочитали по Мамате мусульманскую джаназу и похоронили его... До сих пор не могу прийти в себя. Сообщите его семье – пусть подадут знак: зажгут свет, подадут голос, прочтут хатм-Коран, сделают всё, что положено. Хороший он был человек, поддерживал нас... Ёдгор всем передаёт салам.

Что будет дальше – не знаю. Из этого ада мало кто выходит живым... Молитесь за меня. Мы с Ёдгором договорились: если с кем-то что случится – сообщим. Он, оказывается, отличный парень, раньше я этого не знал. Держимся друг за друга».

После этого письма в доме Бону момо подали знак, открыли траур. Малохат голосила. От Нормурода до маленького Теши – все плакали, разрываясь от боли. Тела не было, похорон не было – только плач. Люди шли на поминку, и поток их не иссякал целый месяц.

Нормурод тогда был ещё мал и не вполне понимал, что происходит. Он плакал, но почему-то не верил, что отец умер. Он никогда не видел мёртвого, не присутствовал на похоронах. Его пугала не сама смерть, а атмосфера в доме: мать и бабушка то и дело начинали плакать – утром ли, вечером ли, во время разговора – слёзы сами текли по их лицам.

Позже пришли «чёрные бумаги» о гибели Мамата и Нодира. Это были первые жертвы войны из их кишлака. Люди восприняли это с особой тревогой, как личное горе.

Но странно – от Ёдгора ни слова. Он написал три письма, и ни в одном не упомянул о смерти Нодира. Лишь коротко писал, что находится рядом с Маннопом.

Через месяц после открытия траура по Нодиру пришла «чёрная бумага» и на Маннопа. Кишлак погрузился в скорбь. Кто-то любил худжатуп, кто-то недолюбливал, но Маннопа жалели все. Матлаб бобо устроил поминки, хотя тела не было. Горе подкосило его – он слёг и через месяц умер.

Этот старик пережил многое. Его младшего брата Тохира когда-то в смутные времена изрубили. Позже, в годы коллективизации, его братьев-близнецов Хасана и Хусана по дороге в Самарканд, где они везли зерно на продажу, убили, забрали телегу, лошадей и зерно. Тела нашли только через неделю в овраге. Потом государство отобрало лишний скот, долго грозились раскулачить. Все эти беды разъедали его изнутри, а весть о смерти сына окончательно сломила.

Из кишлака одного за другим забирали всех юношей, едва подросших. Власти уже не смотрели на документы: если ростом вышел, борода пробилась – значит солдат. Вскоре в кишлаке почти не осталось мужчин. Лишь старики – Алим, Ахмат (которого раньше звали Ахматча за маленький рост, но с возрастом это прозвище исчезло), Пулат и Содик. И всё.

Когда мужчин кишлака впервые призвали на войну, Нормурод был ещё ребёнком. Но жестокие удары судьбы быстро заставили его повзрослеть. Прощаясь с отцом, он впервые почувствовал себя настоящим мужчиной – растерялся от того, что вся тяжесть хозяйства будто легла на его плечи. Впрочем, это чувство быстро прошло: ведь в ответственности есть и своя притягательность. Разве плохо, когда на тебя с надеждой смотрят столько людей, когда ощущаешь себя ответственным за их жизнь и благополучие? Для настоящего мужчины в этом есть особое счастье.

В тот год, пока отцы были на войне, излишки зерна, изюма и сушёных фруктов забрали на нужды фронта, пришло пять-шесть «чёрных бумаг», среди людей поползли тревожные слухи и страх за будущее. Но это было только начало. Настоящие трудности проявились весной, когда пришло время готовить поля к посеву. Мужчины на войне, и основная тяжесть колхозных работ легла на женщин и подростков, ровесников Нормурода. С ранней весны их отправили в поле – пахать. Норма была установлена, работать приходилось с утра до вечера без передышки. Пахота – тяжёлый труд: идти, наваливаясь на плуг, так что плечи ломит, да ещё упрямство волов... Недаром тупых людей сравнивают с волами.

В первые дни Нормурод так изнемогал, что хотел сбежать в кишлак. Но вспомнил слова отца, вспомнил, что он теперь мужчина, кормилец семьи, и, сдержав себя, принялся за работу. Человек ко всему привыкает – вскоре ему стало казаться, что иначе и быть не может.

В их группе были его ровесники – Маматкул, Хазраткул, Жаббор и двое ребят постарше по имени Косим. Оба старше, потому пытались командовать, поручая подросткам самую тяжёлую работу. Чтобы различать их, более худого и желтоватого в лицо за глаза звали просто

Сарык¹⁵. В лицо так назвать никто не решался – характер у него был злой. Второй, покрепче, без прозвища. Он не был грубым, но его холодность и молчаливость внушали страх.

По кишлаку ходили слухи, что скоро и этих двоих заберут на войну. Кто и откуда это услышал – неизвестно, но радости эта весть не принесла. Оба хоть и рослые, но всё ещё подростки, беззаботные дети.

Косим относился к Нормуроду с уважением. А вот Сарык, наоборот, при каждом удобном случае насмехался над ним. Особенно после слухов о призыве он стал ещё раздражительнее. Нормурод, как ни кипела в нём злость, вынужден был терпеть – заступиться некому. Время было такое: каждый сам за себя. Старшие на войне, стариков и женщин мало кто слушает, и внезапно повзрослевшие подростки устанавливали свои правила.

Однажды вечером резко похолодало. Накануне шёл дождь, сырость ещё не ушла. Председатель колхоза не разрешал возвращаться домой даже в такую погоду. Осенью на западных склонах, которые жители называли «чул» – степными холмами, – не успели вспахать землю и посеять озимую пшеницу. За это председателя сильно ругали районные начальники. Весной велели во что бы то ни стало засеять эти земли, и туда направили подростков. Старикам и женщинам поручили хлопковые поля у кишлака. Работа шла под строгим надзором, время от времени на лошадях и гремящих машинах приезжали какие-то районные руководители. Подростки понимали: дело серьёзное. Работали молча.

В тот холодный вечер они спали по двое-трое под телегами. Сарык подошёл к телеге, где, укутавшись в чапан, лежал Нормурод, и пнул его в ногу:

– Эй, сходи принеси дров. Мёрзну. Разожжём огонь.

– Где я их найду? – Нормурод испугался его вида, но не поднялся. Не хотел показывать страх. – Вчера дождь был, даже старые лепёшки кизяка размокли.

– Найди веток.

– В такой темноте? Нос дальше не видно.

– Много не болтай. Где хочешь, там и найди. Вставай!

Нормурод поднялся и молча уставился в землю. Он понимал, что в степи ничего не найдёт. Сарык был упрям и не отступал. Впервые Нормурод ясно увидел: люди бывают разными. Он раньше думал, что все понимают друг друга, способны почувствовать чужую беду. Оказалось, есть и такие, кто ради мелкой прихоти унижает других.

– Я не могу, – наконец сказал он. – Если нужно – сам сходи.

– Что ты сказал, мальчишка? Хочешь, одним ударом свалю? – Сарык шагнул к нему.

И тут Нормурод впервые почувствовал, как страх вдруг делает человека смелым.

– Ты чего орёшь? Я тебе что, обязан? – выпрямился он.

Сарык толкнул его. Нормурод упал, тут же вскочил и, закричав, бросился на него. Это трудно было назвать дракой: Сарык бил, Нормурод лишь отбивался. Если бы не Косим, кто знает, чем бы всё кончилось.

– Хватит! – крикнул он, схватив Сарыка за плечо. – Нужны дрова – сам иди.

– Ты на чьей стороне? – удивился Сарык. – За этого пришлого заступаешься?

В кишлаке семью Нормуро́да до сих пор считали чужаками, при случае напоминая об этом. Ему это было особенно больно: и он, и его отец родились здесь.

– Он не пришлый. И отец его, и он сам – отсюда, – спокойно сказал Косим.

– Да ты что знаешь? Я слышал, его дед откуда-то сбежал. Потом басмачом стал, людей грабил. Потом и отсюда сбежал...

Эти слова больно ударили Нормуро́да. В нынешние времена напоминать о таком считалось тяжким обвинением.

Он побледнел, глаза налились яростью.

¹⁵ Рыжий.

– Слушай, ты, жёлтый кот! Не смей говорить о моём деде! Даже если он твою мать пальцем тронул, не смей так говорить!

Этих слов не следовало говорить. Но гнев затмил разум.

– Ах ты, грязь!

Сарык, как раненый зверь, набросился на него. Несколько раз ударил кулаком по голове. Косим снова разнял их, но Нормурод успел получить несколько тяжёлых ударов.

– Чтоб ты сдох на войне! – крикнул Нормурод, сжимая ноющий нос.

– Не говори так... – потянул его за рукав Маматкул.

В тот год в кишлак уже пришли «чёрные бумаги» на пятерых парней – Мардона, Тоглара, Хамдама, Кайима и Салима. По ним справили поминки. Кишлачные подростки теперь знали, что такое – погибнуть на войне.

– Чтоб он пропал! Чтоб сдох! – не унимался Нормурод, всё ещё кипя от злости, и крикнул в сторону Сарыка. – Одним дураком в кишлаке меньше – ничего не изменится! Сдохни там, на войне! Пусть псы твою тушу растащат!

Не прошло и месяца, как обоих Косимов стали забирать на фронт. Накануне весь кишлак толпами приходил к их дому проститься: кто что находил, то и приносил – складывали в солдатские мешки.

Как и многие, Нормурод тоже пошёл провожать. Идти за Сарыком он не собирался, но с тех пор, как в той драке Косим встал на его сторону, он уважал его и считал своим долгом проводить.

– Нормурод, дружище, – сказал Сарык, обойдя всех и подойдя к нему, стоявшему в стороне, – в молодости всякое бывает. Тогда я хотел с тобой пошутить. И ты ведь тоже сказал то просто так, не от души, верно? Не всерьёз же?

Нормурод, уже забыв обиду, шагнул к нему с раскрытыми объятиями и, не зная, что сказать, вымолвил первое, что пришло в голову:

– Ладно... Счастливо.

– Нет, ты скажи, ты тогда не всерьёз говорил?

Почему-то Сарыку засела в голову мысль, будто на войну он уходит из-за проклятия Нормуро́да. Тот удивился: мало ли что люди говорят в ссоре – в гневе язык не слушается. Почему он так уцепился за это?

– Не помню, что говорил, – только и смог ответить Нормурод.

Сарык смотрел на него умоляюще, ждал, что он скажет «нет». Но Нормурод этого не сказал – просто потому, что не понял, чего тот добивается. Он знал, что уходить на войну – горько, но не представлял, что творится в душе человека, идущего навстречу возможной смерти.

Много позже, когда и его самого, такого же худого подростка, как когда-то Сарык, поведут из кишлака на войну, он поймёт, чего тогда хотел от него Сарык. Но будет поздно.

Сейчас же он понимал лишь одно: они прощаются надолго. А может – навсегда. И всё. Для него это не казалось большой трагедией. Жив ли Сарык, погибнет ли – на его жизнь это не влияло.

– Ладно, – сказал Сарык, обнимая его на прощание. – Если встречу твоего отца, что передать?

– Передай привет.

Нормурод хотел было сказать: «Война большая, где ты его найдёшь», – но удержался. Сарык крепко прижал его к себе и пошёл прощаться с другими.

Не прошло и года, как пришло письмо от старшего Косима: «Скажите семье брата, пусть дадут знак – он погиб».

– Бедный Сарык, – сказал Нормурод с неожиданной жалостью. – А ведь всё-таки был хороший человек.

В этом доме жили три женщины – три несчастные, как они сами считали.

Ойсара-момо овдовела, не дожив и до тридцати. Её муж – наездник, силач – погиб, упав с коня на купкаре¹⁶. В годы моровой язвы умерли трое из четырёх детей. Единственного сына потом ночью застрелили неизвестные. Первую невестку сын забил до смерти, со второй он жил теперь – но разве это жизнь, когда в старости приходится зависеть от двух невесток: своей и внучкиной?

Момо мало спала. По ночам она перебирала в памяти свою жизнь, подводила ей счёт, гадала, что ещё ждёт впереди, и сама себя пугала. В тёмные ночи она поднималась на пригорок возле дома и сидела там, погружённая в мысли. Ей чудилось, как её дети бегают здесь, смеются, дерутся из-за пустяков, висят на старых абрикосах у подножия холма, срывают плоды, едят их, радуясь. Тогда она чувствовала себя счастливой. А потом вспоминала, что больше никогда их не увидит, и сердце её темнело.

На этом пригорке выросли её четверо детей. Потом остался один. Здесь же подрастал Бозор, помогал ей сбивать абрикосы на курагу, здесь же женился и, рассорившись, уехал из дома. Тогда он, полный злости, промчался на коне мимо этого холма и даже не оглянулся. Ойсара-момо, с тяжёлым предчувствием, пошла за ним далеко, но он этого не видел.

Через годы Бозор вернулся. Радость матери была недолгой – его застрелили. Его гроб пронесли мимо этого же холма на кладбище. Тогда она проводила сына в последний путь.

Потом она привезла из Суфикишлака невестку, и внук Ёдгор вырос здесь же, на этом пригорке. Теперь он на войне.

Иногда Ойсаре-момо казалось, что мужчинам в этом доме не суждено жить. И от этой мысли ей становилось страшно – она начинала ненавидеть и себя, и свой дом.

«На наш двор, видно, наговор наложили, кто-то сглазил», – давно уже думала она. С тех пор, как Бозор ушёл из дома. Тогда она ходила к гадалке в соседстве – та сказала, что враг принёс с кладбища землю с заговором и рассыпал по двору, и велела зарезать барана. Момо сделала всё, как сказали. Бозор не вернулся. А когда вернулся...

Виноватой в своих бедах она считала покойную соседку Саламат-момо: «сама умерла, а колдовство её осталось», – думала она с тоской.

Со временем многое стерлось из памяти, но как только внук ушёл на войну, старые страхи ожили. Почему-то она была уверена: и его постигнет беда. Она не хотела этого, но ничего не могла с собой поделать – сердце ей не подчинялось. Стоило ей взглянуть на крошечного правнука Голиба, как тёмные мысли снова овладевали ею. Она стала молчаливой, чувствовала себя лишней в этом доме. Умирать не хотела, жить хотела – но в самой глубине души почему-то страстно желала, чтобы всему этому пришёл конец.

Матлуба-хола тоже тяжело переживала разлуку с сыном. При первой возможности уходила в укромный уголок и плакала. Но, в отличие от старухи, она верила, что Ёдгор вернётся живым. Любую мрачную мысль, едва она появлялась, старалась тут же прогнать.

Она и по сей день чувствовала себя в кишлаке чужой. Кроме Ойсары-момо и своей невестки, у неё здесь не было никого. Как бы ни общалась с соседями, близко к себе она их не подпускала. Отсутствие родни в кишлаке помогало этим трём женщинам жить под одной крышей без больших ссор. Они держались друг за друга, старались беречь одна другую. Даже когда мир темнел в глазах, когда злость поднималась к горлу, они умели остановиться. Если у одной вырывался гнев, остальные молчали.

Ризвон была из соседнего кишлака, средней дочерью в бедной семье. Несмотря на то что Ёдгор вырос здесь, в кишлаке ему долго не давали невесту. То ли сказывалась дурная слава его

¹⁶ Конное состязание.

отца, то ли никто не хотел отдавать дочь в дом, где две свекрови. Сватовство за сватовством – и везде отказ.

Наконец Ойсара-момо через знакомых нашла девушку из соседнего кишлака и привезла её в дом. Когда увидели невестку, у многих девушек в кишлаке защемило сердце от зависти – она была по-настоящему красива: невысокая, с круглым лицом, светлой кожей, большими глазами, длинными чёрными волосами. Те, кто прежде отверг Ёдгора, пожалели. Всегда так: потерянный нож, кажется, с золотой рукоятью. Ёдгор вдруг стал казаться им видным, статным. А ведь он и вправду таким был – просто бедность и отсутствие родни бросали тень на все его достоинства, и под этой тенью никто не видел его настоящим.

После ухода мужа Ризвон стала нервной. Сама не понимала почему, но не хотела слушать свекровей, подолгу сидела одна, погружённая в мысли. Хорошо, что у неё был ребёнок – он её утешал. И всё же, когда она выходила на улицу и её взгляд случайно останавливался на мужчине или взрослом парне, сердце у неё почему-то начинало биться чаще. Она ловила себя на том, что смотрит им вслед. Пыталась бороться с этим, никому не показывать, но не всегда могла справиться. Знала, что так ведут себя дурные женщины, и от этого ей становилось ещё тяжелее.

Эти перемены в ней заметили и Ойсара-момо, и Матлуба-хола. Но лишних слов не говорили. Они сами прошли через подобные дни и понимали: самое правильное – не читать нотаций.

Зимой двухмесячный Голиб занемог: дыхание его стало тяжёлым, сиплым, будто кто-то сдавливал грудь изнутри. Три женщины перепробовали всё, что знали, но младенцу не становилось легче. Они сидели и с надеждой смотрели на его посиневшее личико – больше им ничего не оставалось. Жгли исирик¹⁷, читали от сглаза, натирали – без толку. Ребёнок синел всё больше. В глубине души Ойсара-момо уже потеряла надежду. Её охватил страх: что скажет она отцу, если тот вернётся?

Матлуба и Ризвон были помоложе и неопытнее – им и в голову не приходило, что ребёнок может вот так, сам по себе, угаснуть. Они просто не знали, как умирают младенцы.

Лишь к концу второго дня Ойсара-момо, обойдя полкишлака, раздобыла немного курдючного сала. Им растёрли грудь ребёнка, укутали его, и, к удивлению, всех, Голиб вдруг успокоился и уснул.

Ризвон вышла во двор, накинув на плечи старый чапан мужа. Едва она распахнула резные створки ворот, как стоявший у входа таз, в котором накануне купали ребёнка, с грохотом покатился по земле. Ризвон давно уже винила в болезни младенца то купание, но не решалась сказать об этом свекровям – ведь на купании настояла именно старшая.

– Чтоб ты без хозяина остался! – в сердцах пнула она таз подальше.

– Устала Ризвон, видно, – сказала Матлуба-хола, радуясь, что младенец, наконец, спит, и не приняла её выходку близко к сердцу. – Не владеет собой.

– Это не ей одной выпало. Раз на долю выпало – терпеть надо, – назидательно добавила Ойсара-момо.

Между собой они это обсудили, но к Ризвон не обратились. Она и раньше не раз давала волю нервам: ещё до болезни ребёнка могла вдруг ни с того ни с сего швырнуть что-нибудь, обругать скотину, с грохотом захлопнуть двери. Но на свекровей никогда не срывалась – прикусывала язык, глотала обиду.

Она понимала, что беда эта не только её, что и эти две женщины пережили подобное. И всё же её терзала мысль: «Тогда были другие времена, другие люди». Она не знала, что в любое время человек остаётся человеком, и боль всегда одинакова. В рассказах свекрови и бабки она не видела чувств – не замечала того же страдания, которое терзало её саму. Ей, казалось, будто

¹⁷ Исирик — растение, используемое для окуливания.

тем, прежним, всё это было предначертано, будто они заранее знали свою судьбу и потому спокойно её принимали.

Она не могла представить, что и свекровь, и бабка когда-то были молоды. Казалось, они всегда были такими – сдержанными, холодными, невозмутимыми. Будто у них вовсе нет чувств. Будто и о Ёдгоре, ушедшем на войну, они говорят сухо, без боли.

Ризвон не понимала, что эта сдержанность – от прожитых лет, от бесконечных потерь, что они научились прятать своё горе, потому что знают: сколько ни изливай душу, никто не облегчит твоего горя.

Глубокой ночью у младенца снова поднялась температура, он захрипел и заплакал. Три женщины метались по тёмной комнате. Одна убаюкивала, другая кормила, третья, сжав руки, молилась, прося у Бога исцеления для этого крохотного существа. До рассвета они не сомкнули глаз. В такие минуты особенно мучительно чувствуется человеческая беспомощность – когда понимаешь, что ничего не можешь сделать.

Утром, по настоянию Ойсары-момо, решили везти ребёнка в Ургут, в больницу.

Ургут был далеко. Мороз, пешком не доберёшься. Ойсара-момо пошла искать упряжку. Лошадей в кишлаке почти не осталось – их забрали с началом войны. Главный транспорт – осёл. Но зимой, когда их плохо кормят, ослы болеют и едва стоят на ногах.

Она обошла много дворов – подходящего осла не нашлось.

Только у Нормурода, жившего на горной стороне кишлака, осёл оказался крепким. Бону-хола¹⁸ сразу согласилась помочь и отправила с ним старшего внука.

– Осёл у нас норовистый, никого, кроме Нормурода, не слушается. Пусть сам едет, а то замучает вас.

Нормурод оседлал осла, запряг в арбу, посадил Ойсару-момо и направился к их дому.

Мороз стоял сухой, пронизывающий. С гор тянул ледяной ветер. Когда Нормурод, поёживаясь, с ослом, чья шерсть взъерошилась от холода, добрался до дома Ойсары, солнце уже поднялось на высоту двух тополей.

Он слез с осла и, дрожа, ждал, пока выйдет момо. В это время из глубины кишлака по пыльной улице показалась девочка лет тринадцати, в чёрной кофточке, с мелко заплетёнными косичками, на концах которых болтались кисточки. Это была Нигора, средняя дочь Раззок-ака. Она часто приходила к ним с матерью вышивать – Бону-хола славилась мастерством, и многие девушки учились у неё.

– У вас дома угли есть? – спросила девочка, подойдя к нему.

Нормурод посмотрел на её смуглое, будто припорошенное пылью лицо, в большие живые глаза – и не понял:

– Зачем тебе?

– У нас огонь погас, братья мёрзнут, спичек нет.

– Почему дома не спросила? Видишь, я в Ургут еду. Ни углей, ни спичек при мне нет.

– Не знаю... увидела, что ты сюда идёшь, решила спросить, – девочка говорила бойко.

– В Ургут едешь? Зачем?

– Дело есть. У момо внук заболел, повезу в больницу. Ты зайди к ним, спроси, а то они сейчас уедут – останешься без огня.

– У них, наверное, тоже нет, – беспечно сказала девочка.

– Ты же ещё не спрашивала, откуда знаешь?

– Чувствую. И потом – не удивятся ли они, что я пришла угли просить?

Нормурод не понял – то ли простота в ней была, то ли лукавство. Эта девочка всегда казалась ему не такой, как другие. С детства он чувствовал к ней особую теплоту. Даже в школе она ходила за ним по пятам.

¹⁸ Хола — тётя по матери; уважительное обращение к женщине старше себя.

До войны всем кишлаком, хашаром, слепили из пахсы¹⁹ школу – большую, с шестью комнатами, с айваном и широким коридором. Для кишлака такая постройка была внове – да ещё и с айваном на сторону киблы. Но по слову начальства школу возвели именно так.

Учились там недолго. Началась война, учителей забрали, школа закрылась. Теперь никому не было дела до учёбы – у каждого была своя беда.

– Не удивятся, спрашивай. Лучше спросить, чем уйти с пустыми руками. Кто знает, есть ли и у соседей... – Нормурод отвёл взгляд. В душе его шёл какой-то непонятный ему самому процесс, и он боялся, что девочка прочтёт это по глазам.

– Надолго в Ургут?

– Не знаю, как у них дело управится, – подросток повёл плечами, успокаивая беспокойного осла. – А что, дело есть?

– Я к вам хотела зайти – вышивать, – бойко сказала девочка.

– Так ты же не со мной вышиваешь. Мать дома, заходи.

– Это верно... – девочка замялась. Со двора Ойсары-момо доносились голоса. – Ладно, я пошла. Если у них не найдётся, к вам зайду. Скажу – Нормурод велел.

– Заходи... – Нормурод ещё долго смотрел ей вслед.

Нигора вошла во двор Ойсары-момо и вскоре выбежала обратно, бережно неся в ладонях горсть золы, из которой теплились угли.

– Взяла! – радостно сказала она, и лицо её светилось. – У них в сандале были. Сейчас сами выйдут. Я побегу, пока угли не погасли... Счастливо вам съездить.

Нормурод смотрел ей вслед до тех пор, пока из дома не вышли те, кого он ждал. Почему-то сегодня девочка показалась ему особенно привлекательной, совсем не такой, как прежде.

Из дома вышли Ризвон – с ребёнком, туго закутанным в одеяло, и в новой, накрахмаленной парандже, – и Матлуба-хола в чапане, с чёрным пуховым платком на голове, так что видны были только глаза. Она прижимала к груди старую курпачу. Курпачу расстелили в арбе и уселись на неё. Арба качнулась, словно вот-вот перевернёт и без того дрожащего от холода осла.

– Садитесь ближе к передку, – сказал Нормурод, не глядя на них. Он спрыгнул с осла, одной рукой прижал дышло, другой подтянул и крепче перевязал ремни.

Ойсара-момо тоже хотела сесть в арбу, но Нормурод нахмурился. Он и без того переживал за осла – дорога дальняя, тяжёлая. Он жалел своё животное. Всё-таки внук наездника: если нет коня, и к ослу привяжется душой.

– Вам лучше остаться дома, момо, – сказал он, снова садясь верхом. – Дорога длинная, устанете. Мы сами съездим.

– И правда, не ездите, амма, посидите дома. Мы сами покажем. Зачем вам лишней тяжести в арбе быть, – Матлуба-хола поняла его тревогу.

Ойсара-момо осталась, и Нормурод облегчённо вздохнул.

В Кургонче врачи осмотрели младенца и сказали, что он простудился. Решили оставить в больнице на пару дней, подлечить.

Ризвон осталась с ребёнком. Сначала Матлуба-хола хотела остаться, но врачи не позволили – младенец был на грудном вскармливании.

Пять дней подряд Нормурод возил Матлубу-холу и Ойсару-момо проводить Ризвон с малышом. Зима началась, работы почти не было, и то, что поначалу казалось ему в тягость, постепенно стало нравиться. И осёл разошёлся, окреп. Да и самому ему было любопытно ездить.

Нормурод украдкой присматривался к Ризвон. Когда свекрови заходили в палату, он оставался снаружи, сторожил арбу. Но, возвращаясь, Ризвон провожала их до ворот, и там они перекидывались словами. Тогда-то он и заметил, какая она красивая.

¹⁹ Глинобитная стена.

И всё же мысли его занимала другая – Нигора. Почему-то именно о ней ему хотелось думать, и при воспоминании о ней сердце начинало биться чаще. Под вечер он подолгу стоял у ворот, ожидая, не выйдет ли она за водой или по какому-нибудь делу.

Когда с начала войны минуло полтора года, поздней осенью в кишлаке произошло неожиданное.

Когда поминки по Матлаб-ака давно отгремели и люди стали понемногу забывать о нём, на окраине кишлака появился солдат. Одна нога у него была отнята по колено, вместо неё – деревянная, с заострённым концом. Он шёл, прихрамывая, измождённый, в выцветшей шинели, с солдатским вещмешком за спиной, в шапке, натянутой до самых бровей.

Снега ещё не было, но мороз пробирал до костей. Люди сидели по домам, у только что растопленных сандалов, грея спины. Зима ещё не вступила в силу – это был позднеосенний, злой холод. К нему не успели привыкнуть. Дрова, кизяк, заготовленные за лето, лежали грудами, и казалось, что этой зимы хватит на один-два таких заморозка – жгли щедро, не жалея.

Солдат шёл со стороны Самарканда. Шёл устало – шаг его был вялым, голова опущена, плечи шинели провисли. Руки прятались в рукавах, полы мешали идти, трепались на ветру. К деревянной ноге он ещё не привык – часто спотыкался.

К вечеру он приблизился к кишлаку. В нос ударил терпкий запах кизяка, а где-то пахло топлёным маслом – кто-то что-то жарил. Солдат тяжело вздохнул, глубоко вдохнул воздух. Он вошёл в кишлак с западной стороны, перешёл овражек и присел на большой камень у пригорка. Поставил рядом костыль, потёр покрасневшие ладони. Сухой ветер поднимал пыль, катил по выжженной равнине перекасти-поле, забивал глаза, вызывал слёзы.

Но глаза его слезились не только от пыли. Он радовался, что дожил до этого дня, что снова видит родной кишлак. Когда уходил на фронт, когда впервые вступил в бой, когда, тяжело раненный, лежал между жизнью и смертью, он думал, что больше не увидит этих мест, что тело его останется в чужой земле без савана. В госпитале он по крупичкам вспоминал родной край, каждого человека. Если вдруг кого-то забывал, а потом вспоминал, радовался, будто встретил давнего знакомого. Давал себе клятву: если вернусь живым, никому не причиню боли.

Холодный ветер пронизывал шинель, но он не обращал внимания. Он не хотел, чтобы ничтожный холод отвлёк его от этих долгожданных мгновений. Вытер слёзы, выпрямил деревянную ногу, поднялся и, прихрамывая, пошёл к кишлаку.

Вот они – низкие, глинобитные крыши с дымящимися трубами, стены, размытые дождями и снегом, ветви деревьев, из которых ветер срывает последние жёлтые листья, пыльные улицы... Кишлак обветшал, но запах его остался прежним, и ветер, и пыль – всё было тем же.

В душе солдата ожили детские воспоминания. В такую погоду он любил забраться под сандал и слушать завывание ветра. Братья ленились идти к скоту, получали выговор от отца и, накинув чапан, выходили во двор... Детство было чудесным – и безвозвратно ушло.

Этим солдатом был Манноп – тот самый, которого уже считали погибшим. Тяжело раненный, с отнятой ногой, признанный негодным, он возвращался домой.

Долгая дорога измотала его. Особенно ныло место, где нога соприкасалась с деревянным протезом. Тряска на камнях отзывалась болью в голове. Но он шёл.

Манноп вошёл в кишлак.

Он ещё не знал, что ждёт его дома.

Двустворчатые резные ворота из выцветших от дождя, снега и солнца досок были закрыты. Манноп толкнул сильнее – засов глухо звякнул, но ворота не поддались. Он постучал костылём. Изнутри донёсся приглушённый лай собаки.

«Значит, ещё жива...» – подумал он, и тревога, тяжёлые, недобрые мысли, как туман, рассеялись. Почему-то он сразу сделал вывод: раз старая, родная собака здесь, значит, всё по-прежнему, ничего не случилось, бояться нечего.

Ответа не было. Собака вскоре тоже замолкла. Сердце Маннопа заколотилось – он уже представлял, как его встретят. Если все в доме, могут и не услышать стук. Он поднял с земли камень покрупнее и метнул в стену дома с айваном. С детства у него была такая привычка: если задерживался и не хотел поднимать крик на всю махаллю, бросал камень в стену – свои понимали, что он пришёл.

Когда снова звякнул засов, сердце у Маннопа сладко сжалось. Этот звук напомнил ему детство, самые светлые минуты жизни. В беззаботные годы по утрам, выгоняя скот в поле, он слышал, как точно так же лязгали ворота, как онемевшие от холода телята, спотыкаясь, выбегали на улицу, а он, крича «эй-эй!», бежал за ними. Странно – на войне он вспоминал всё подряд, а вот этот чудесный звук почему-то ни разу не пришёл ему на память.

Подойдя ближе к воротам, он от волнения будто забыл, как ходить на костыле, трижды споткнулся, едва не упал.

Ворота со скрипом приоткрылись, и раздался огрубевший голос младшего брата:

– Кто?!

Манноп поспешил навстречу, но запнулся. Он ещё не умел ловко передвигаться на деревянной ноге. В полумраке показалась голова Замона, и, заметив в нескольких шагах от себя силуэт военного, он испугался. В те дни подростков забирали на фронт, не особо расспрашивая ни возраста, ни имени. Потому Замон, которому ещё и пятнадцати не исполнилось, невольно насторожился. Где-то в глубине души его и манили война, и таинственные, заманчивые приключения, и мысль, что там он, может быть, узнает что-нибудь о брате. Но реальность – что оттуда не возвращаются – была сильнее детской мечты.

– Это я! – сказал Манноп, подходя ближе и удивляясь, как изменился, огрубел, отчуждился голос брата. – Замон, я вернулся!!

Замон, услышав голос, вздрогнул. От растерянности он не понял – явь это или сон, – застыл, раскрыв рот. Манноп, уронив куда-то костыль, поспешил к нему с распростёртыми объятиями.

– Я жив, Замон! Я вернулся!

– Ака!!! – вырвалось у Замона, и он крепко обнял брата, зарыдав.

До войны он обращался к Маннопу на «ты», звал по имени. А сейчас его вдруг заняла странная мысль – как к нему обращаться? Человек в солдатской форме, прошедший через столько горечи, уже не был тем, прежним «ты». Сколько раз за войну он тосковал по брату, вспоминал их ссоры, свои обиды, клялся Богу: «Если ака вернётся живым, я никогда больше с ним не поссорюсь...» И вот он стоит перед ним. Нужно говорить «ака», но язык будто не привык. И даже сейчас это слово вырвалось как-то грубо, неловко.

Они долго стояли в объятиях.

– Пойдёмте в дом, чего мы тут стоим! – наконец сказал Замон и потянул его внутрь.

– Сейчас, погоди, – сказал Манноп и, пошатываясь, стал нащупывать деревянной ногой землю, ища костыль. Замон уже не оглядываясь, побежал во двор.

В ту же минуту во дворе поднялся крик, суета. Один за другим выбегали дети, женщины. Кто-то, ещё не подойдя к Маннопу, уже навзрыд плакал. Манноп ничего не понимал. С трудом найдя костыль, он стал обниматься с подбежавшими братьями и родственниками. В тусклом свете фонаря, который кто-то держал над головой, он взглянул на одежду матери и сестёр – все были в синем.

Он не понял смысла этого плача, но где-то в самой глубине души у него что-то болезненно оборвалось. Что-то случилось. Кто-то... Но кто?

– А где отец? – спросил он у тех, с кем обнимался, но ему не ответили, будто не слышали.

Неужели?..

Страшная мысль мелькнула у него в голове.

Но всё же он не решался поверить.

– А где отец? – наконец спросил он у младшего брата, четырёхлетнего Рустама, который стоял, прислонившись к двери кухни, которую в доме называли «томча».

– Отец ушёл... – сказал мальчик, широко раскрыв глаза. – Мы отца положили.

– Куда?!

– На кладбище

Манноп растерялся. Голова закружилась, и он вдруг тонко, по-детски всхлипнул. Те мгновения, которых он ждал столько времени, которые представлял самыми счастливыми в своей жизни, обернулись трауром. Руки и ноги ослабли. Он опустился на край суфы и, закрыв лицо ладонями, зарыдал в голос.

После случая с Нисо Ойсара момо стала особенно настороженной к невесткам. Ей не нравилось, что Нормурод слишком часто ездит с ними в Ургут, и, едва Галиб немного оправился, она почти силой увела Ризвон домой. Разумеется, в Нормуроде она не сомневалась, но боялась людских пересудов – сейчас любая мелочь могла разгореться в пожар.

В душе у Нормурода не было ни тени дурного. Он лишь увидел, что Ризвон красива, удивился этому – и больше ничего ему в голову не приходило. А вот у Ризвон при виде Нормурода дрожали колени. Да и вообще любой мужчина теперь казался ей притягательным и каким-то особенным.

Нормурод был ещё ребёнком. В его душе только-только начиналась борьба между детством и отрочеством. Эти чувства, словно тёплая и холодная вода, смешиваясь, почти незаметно проникали друг в друга, мутно переливаясь в глубине его сознания. Он переживал самый тонкий, самый таинственный возраст. Ещё не понимая горечи и тревог взрослой жизни, он уже ощущал, как они пробуждаются где-то в глубине, тревожат родные, привычные чувства, занимают своё место.

Он ещё не знал, что такое любовь, но в груди рождалось сладкое томление, от которого порой он не находил себе места.

Он ещё не понимал, чем заканчивается человеческая жизнь. Детским умом смутно догадывался об этом, но надеялся, что всё это его не коснётся. Как и все дети, он верил, что мир вращается именно вокруг него, что он не такой, как остальные. Когда другие говорили о кладбище, в его душе не возникало никаких чувств: кладбище казалось ему холодным, далёким, страшным местом, куда ему никогда не придётся идти.

Так думал Нормурод, как думают все дети. Но отрочество уже поднимало голову, и эти выводы начинали рушиться. Со временем он повзрослеет, детские представления уйдут, он узнает, что такое любовь, поймёт, что он – лишь один из миллиардов живущих на земле людей, что для него не произойдёт никакого особого чуда, что он не центр вселенной и мир прекрасно обходится без него. Со временем, когда близкие один за другим начнут уходить на кладбище, он перестанет его бояться, а в конце концов оно даже станет чем-то родным. Но всё это будет потом. А сейчас в его наивной детской душе лишь сталкивались с суровыми законами жизни первые смутные бури.

Ранней весной, когда пришлось выходить в степь пахать землю, для него начался настоящий перелом. Подросток, привыкший к отцовской, а затем и материнской опеке, вдруг лишился их тепла и защиты и растерялся. Самым тяжёлым оказалось то, что никто больше не приходил ему на помощь, никто не вставал на его сторону. До сих пор он жил под родительским крылом, и что бы ни случилось, они оберегали его. Теперь же о нём, кроме него самого, не думал никто. И дело было не в отсутствии заботы – нет. Главное было в том, что теперь

только он сам должен был решать, что хорошо, а что плохо. Даже если он рискнёт собственной жизнью – никто не скажет ему: «Не делай этого».

Он очень скучал по отцу, но никому этого не показывал – стыдился. На его плечи легли все хозяйственные заботы. В лютый зимний холод он ездил в степь за хворостом – чтобы потом отвезти его в Ургут, продать или обменять на хлеб. Холод пронизывал его до костей. На ногах – старые отцовские сапоги, у которых голенища протёрлись и разошлись, а подошвы стерлись до дыр. Оседлав ослика, он засовывал топор за пояс, крепко стянутый поверх чапана, и, месив грязь, добывал дрова, срезал даже сырые ветки деревьев. Жёлтая глина этих мест от дождя превращалась в липкую жижу и долго не просыхала. К его драгоценным сапогам налипали килограммы грязи. От мороза руки немели, ныли, будто в них вонзались тысячи иголок. На глаза наворачивались слёзы. Он жаловался про себя на жестокость жизни, но никому было слышать его боль.

Как будто этого было мало, поздней осенью пришли люди от власти и «для войны» изъяли часть зерна, изюма и кураги. К середине зимы перед семьёй встал вопрос голода. Мать старалась расходовать муку экономно, но когда её мало, сколько ни экономь – всё равно не хватает.

Жизнь шла своим чередом. И в один из таких тяжёлых дней Раззок-ака начал готовиться к свадьбе старшего сына Пулата. Тревожные времена сбивали людей с толку – никто не знал, что будет завтра. Раззок-ака уговорил своего старого друга Мурод ака отдать старшую дочь замуж. Дочь Мурод ака, Насима, была красивой, смуглой девушкой, на год моложе жениха, ей шёл семнадцатый. Намерение Раззока ака было простым – успеть женить сына, пока его не забрали на войну, и увидеть внука.

Сначала Мурод ака не соглашался: кто знает, что будет завтра, к чему свадьба в такое время? Но Раззок-ака не отставал, уговаривал, убеждал – и добился своего.

Начались приготовления к свадьбе.

Нормурод целую неделю пропадал у Раззока ака. Только ночевать уходил домой. Всё своё время он отдавал свадебным хлопотам: рубил дрова, таскал казаны, копал очаг, помогал приводить двор в порядок. Делал всё это с удовольствием. И чем дальше, тем сильнее бросалась ему в глаза Нигора – словно огонь. Он до конца не понимал, что это за чувство, чего он от неё хочет, но ему хотелось её видеть. Вечером, укрывшись в тепле под одеялом, он засыпал, думая о ней, и эти мысли казались ему сладкой сказкой. Он испытывал бесконечную радость жизни и забывал о сотнях своих забот. А днём с нетерпением ждал вечера – чтобы снова лечь спать с этими мыслями.

Но Нигора ему не снилась. Как ни хотелось – не снилась. Лишь однажды.

В ту ночь, когда она приходила за углями.

Будто всё вокруг было залито светом, Нормурод стоял перед Нигорой молча, а она безостановочно смеялась. Только это. После того сна его отношение к соседской девушке изменилось. Она стала казаться ему огненной. Он вдруг понял, что раньше смотрел на неё иначе... Один за другим в памяти всплывали эпизоды детства: как она, ещё крошечной девочкой, ходила за ним следом, как подбегала на улице с разными вопросами, как во время хашара, когда им дали по длинной палке и одно ведро глины на двоих, она старалась тянуть тяжёлое ведро на себя, как просила его мать не заставлять Нормуроода много работать.

Раньше всё это казалось ему чем-то обыденным, не заслуживающим внимания. Он думал, что так и должно быть. Принимал её доброту как должное. А теперь именно за это и полюбил её. Потому что оказалось – так бывает не всегда.

Но он ещё не знал, что это за чувство. Скорее, оно походило на ответственность старшего брата перед младшей сестрой. Почему-то ему хотелось защищать её от всех, проявлять к ней заботу, делать для неё добро. Вот и всё.

Бывая у Раззока ака по случаю свадьбы, он привык к Нигоре настолько, что уже не мог обходиться без того, чтобы её видеть.

День, когда должны были отправлять свадебный обоз, выдался морозным. Нормуроду, хлопотавшему по хозяйству, поручили следить за огнём в очаге и за самоваром. Он сам подбрасывал в огонь дрова, которые накануне натаскал со всех сторон, помогал повару, кипятил чай.

Нигора тоже часто забегала сюда: мыла пиалы, миски, посуду, брала из очага жар для сандала.

– Нормурод, завари чай, – сказала она однажды, принеся два почерневших от огня чайника. – Я кран открыть не могу, горячо, руку обжигает.

Нормурод поспешно взял у неё чайники, налил в один кипятку из самовара и, повернув ручку к Нигоре, подал его, подставив под дно раскрытую ладонь правой руки.

– В таких делах обращайся ко мне, – сказал он.

– Ой, что ты делаешь, обожжёшься! – Нигора по-настоящему испугалась и торопливо приняла чайник. – Лучше поставь на хонтахту, я сама возьму.

Между самоваром и котлом стояла старая, перекошенная хонтахта; на ней были расставлены чай, чайники, блюда. Вообще-то большой казан стоял чуть поодаль, в яме посреди люцернового поля, но сегодня людей собралось немного, и плов варили в очаге у тандыра. Поваром был Курбон-бобо. Этот человек привык готовить на больших свадьбах, а сегодня его позвали просто так – для порядка. В маленьком казане он варил плов, будто для развлечения. Для него это пустяк: объяснив Нормуроду, как поддерживать огонь и что делать, он ушёл в поперечную комнату, где сидели четверо-пятеро мужчин. Там разговор разгорался всё жарче, время от времени раздавался дружный грохот смеха.

– Не бойся, не обожжёшься. У меня руки от холода заоченели, огрубели, им теперь ни жар, ни холод нипочём, – Нормуроду так и хотелось похвастаться перед этой девочкой.

– Кто знает, вдруг ладонь к чайнику прилипнет, потом будешь на меня жаловаться.

Нормурод не слушал. Сейчас он был не в том состоянии, чтобы вникать в слова.

Если приглядеться, Нигора была не такой уж красивой. Худенькая, лицо смуглое, местами будто лишай проступил, цвет блеклый, в фигуре не было девичьей прелести. И всё же во взгляде, в словах её таилось что-то неуловимое, стеснительно-скромное, какая-то тихая притягательность, которая тянула Нормурода к ней.

– Вот так ни с того ни с сего у тебя своя янга²⁰, – выпалил Нормурод первое, что пришло в голову. – Теперь будешь разгуливать спокойно, хозяйство на невестку свалится.

– Хорошо будет, будем с янгой вместе за водой ходить, вышивать, – Нигора уже утонула в сладких мечтах. – Не буду скучать, будем всё время болтать.

– Пока янгой будешь. А потом сама окажешься в чужом доме – плакать да работать.

– Ой, ты что, с ума сошёл? Я замуж не выйду! – глаза Нигоры расширились.

– В старых девах останешься?

– Не знаю, но замуж никогда не выйду. Я мальчиков не люблю, – кокетливо сказала она.

– А мы тебе что плохого сделали? – Нормурод заварил и второй чайник и посмотрел на неё.

– Я ж не про тебя...

– А про кого тогда? Я тоже из их числа. Или ты меня к девчонкам причислила?

– Ой, с тобой скажешь слово – и бежать надо.

Дверь распахнулась, и женщина крикнула из дома:

– Эй, Нигора, куда ты запропастилась? Тебя ж талканом на воду отправлять надо!

²⁰ Янга — жена старшего брата; обращение к невестке.

– Иди скорее, тётки, похоже, уже сердятся, – на этот раз Нормурод поставил чайник на хонтахту: пока они разговаривали, он сильно нагрелся, и держать его на ладони, как прежде, уже не вышло. – Осторожно, горячо.

Как бы Нормурод ни мечтал, в тот день ему так и не довелось спокойно поесть плова. Раззок-ака, поглаживая аккуратно подстрижённую бороду, велел ему срочно запрячь арбу для свадебного обоза. Нормурод помчался домой, разыскал упряжь для осла и, пока вернулся, плов уже разложили и съели.

Он привёл арбу, но, стесняясь, стоял на улице, не решаясь войти без приглашения. Люди были заняты едой, его никто не заметил.

Поняв, что здесь он лишний, и не зная, что делать, Нормурод от злости был готов укунить себя за нос. В этот момент из дома вышла Нигора с ведром.

– Ты чего тут стоишь? Почему не заходишь? Иди поешь.

– Нет, я сыт, – хотел сказать Нормурод непринуждённо, но не вышло – в голосе прозвучала обида. Да и пересохшие губы, потемневшее лицо выдавали голод.

– Не ври, заходи.

Он и хотел войти, но гордость не позволила. Послушаться девчонки – счёл для себя унижением.

– Ты зайди и скажи, что арба приехала. Я тут подожду.

– Не уходи, я сейчас.

Нигора юркнула в дом и вскоре вышла с половинкой простой лепёшки, на которой лежало немного изюма и несколько леденцов.

– Плова не осталось, всё съели, обжоры. Вот это съешь. За плов я тебе должна, потом сама приготовлю.

– Ты что, с ума сошла? Куда я это дену? Разве поеду к сватам, жуя лепёшку?

– Не отталкивай мою руку, – обиделась она.

– Мне стыдно. Вдруг кто увидит, как я тут жую, засмеют.

Он и вправду постеснялся взять у неё еду. Видя, что она огорчается, отломил маленький кусочек, а остальное осторожно вернул:

– Спрячь. На обратном пути возьму.

– Обманываешь.

– Честное слово, возьму. Думаешь, я хлеб не ем? Я и леденцы люблю.

Нормурод, словно наевшись, повеселел и повёз свадебный обоз к дому Мурод-аки.

Возвращаясь, Нигора уже ждала его на улице. Увидев его издалека, забежала домой и вынесла маленький узелок.

– Это тебе.

В узелке был атласный платочек с сетчатой каймой, внутри – изюм и леденцы. Платок пах свежестью сундука.

– Я сейчас высыплю в полу халата и верну тебе платок.

– Не надо. Это тебе подарок. За твою помощь на свадьбе. Если не я, о тебе никто и не вспомнит, верно? – улыбнулась она.

Нормурод растерялся. Ему ещё никто ничего не дарил.

– Верно, верно... – Нормурод смутился. Ему ещё никто никогда ничего не дарил. Сердце его дрогнуло, но, чтобы не выдать волнения, он перевёл всё в шутку. – Только зря хлопотала. Из твоего свадебного сундука одним платком меньше станет – кому-нибудь из дружков жениха не достанется.

– Сам виноват будет, – засмеялась Нигора. – Мне-то что?

Нормурод рассчитывал, что после его слов девушка смутится, скажет: «Не говори так», – и поспешит уйти. Но её лёгкий, задорный ответ озадачил его. Он не нашёлся, что сказать, и, неловко дёрнув поводья, тронул осла:

– Ладно, я поеду. Отвезу арбу домой... если понадобится – выйду ещё. Спасибо за платок. Он уехал. А Нигора осталась посреди улицы, погружённая в свои мысли. В её душе тоже начинались большие, тревожные перемены.

Самое интересное произошло после полудня.

Когда Нормурод лежал дома, предаваясь сладким мечтам, во дворе у соседей поднялся шум. Он выбежал на улицу и, увидев во дворе Раззок-аки людей и двоих в фуражках, похолодел.

Сначала хотел себя успокоить: мол, гости на свадьбу. Но тут же вспомнил, что военные по свадьбам не ходят, и ни у Раззок-аки, ни у Мурод-аки среди них знакомых нет.

К дому стекалась вся деревня. Из разговоров стало ясно: военные приехали забрать Пулата на войну.

Такие внезапные облавы на молодых стали обычным делом – беглецов становилось всё больше. Люди называли военных «охотниками». Они появлялись неожиданно и без лишних разговоров увозили юношей и скрывающихся мужчин на фронт.

– Дайте хоть два дня, – подавленно просил Раззок-ака. – Послезавтра свадьба, пусть её сыграет и поедет.

– Сейчас не до свадеб, – грубо ответил высокий, чёрнолицый, рябой усач. – С войны вернётся – тогда и женится. Нам спущен план. Немедленно отправляйте сына.

– А нельзя было предупредить заранее? – Раззок-ака растерялся, не зная, что делать.

– Сколько раз вас предупреждать? – тот не собирался уступать. – Если по-хорошему предупреждать, вы в горы убегаете... Ходим потом, маемся, переваливаем через хребты... Дурачье, думаете, от государства убежите?

Вскоре подоспел и Мурод-ака. Он метался туда-сюда, не находя слов. Только и повторял:

– Вот те на... и что теперь будет?..

Но против власти не пойдёшь – в тот же день Пулата увезли.

Провожала его вся деревня. Люди обнимались, прощались. Нормурод тоже крепко прижал его к груди. Они долго стояли, обнявшись, молча.

– Вот уж интересно получилось, дружище, – прошептал Пулат. – Столько лет ждал этого дня, мечтал – и как раз теперь на войну забирают! Не повезло мне, брат... Ладно, ты присматривай за моей янгой, чтобы никто косо не смотрел. Если кто шаг не так сделает – скажи: «Я брату расскажу». Я на тебя надеюсь...

Почему-то у Нормуро́да защемило в глазах, сердце задрожало, и он с трудом удержался, чтобы не расплакаться.

Меньше чем за час праздничное настроение в деревне сменилось трауром. Но свадебная машина уже была запущена, остановить её трудно: гостей позвали, обоз отправили – назад не повернёшь.

Старики посовещались и решили всё же принять невесту. По словам бывалых, в старину, если жениха не было, никях читали на его нож. Так и сделали.

Через день сыграли свадьбу – без жениха. Никях прочитали над ножом Пулата.

К весне в деревне почти не осталось мужчин.

Поздней осенью, когда Манноп вернулся с войны без одной ноги, а вскоре после этого в списки призываемых попали и Раззок-ака с Мурод-акой – обоим за сорок, уже причисляли себя к старикам. Они отрастили бороды, наматывали чалмы, поучали молодёжь, на свадьбах сидели среди старших, возвращались с фатихи с двумя лепёшками да платочком – не помогло. Забрали и их.

Многие были уверены, что их не возьмут. Сам Раззок-ака посмеивался: «Кому мы, старики, на войне нужны? Молодой – к делу, старый – к еде. Будем там лишний хлеб проедать». Но однажды пришла повестка – словно сказали: «Иди, раб божий».

У него будто что-то оборвалось внутри. С того дня он не находил себе места, словно старик, которому близка смерть. Встречных заводил на грустные разговоры, незаметно просил прощения и благословения. Человек, который никому слова дурного не сказал, как он сможет убивать? Как поднимется рука? А если убьёт – как потом жить? Не будет ли душа убитого преследовать его всю жизнь?

Кто-то советовал ему взять тулуп и уйти в горы – пусть жизнь там тяжёлая, но лучше, чем умирать на чужбине. Но Раззок-ака был не из таких. Он не любил играть ни с людьми, ни с государством. Людей ещё можно обмануть, а государство? В тюрьме сгноят.

Смирившись с судьбой, почти уверенный, что его тело останется в чужой земле, он тяжело прощался с односельчанами, у многих просил прощения. Он не понимал: что такой человек, как он, будет делать на войне? Разве что станет лёгкой мишенью для немца.

Выезжая из деревни, Раззок-ака смотрел на плачущих людей и чувствовал: он их больше не увидит, не ступит на эту землю. Тяжело было уезжать, не получив ни одного письма от сына, уходя в неизвестность. Он никогда далеко не уезжал из родных мест, не подходил так близко к опасности. Его пугало исчезнуть вдали от семьи, в чужих краях, в безвестности – а ещё сильнее жгло то, что он так и не узнал судьбы сына.

– Мурод, – сказал он идущему рядом товарищу, – Раим умер, Комил умер, видно, наша очередь пришла. Мы-то в жизни кое-что успели: женились, детей нажили. А они ушли молодыми, ничего не увидели... Всё-таки человеку умирать не хочется, а?

– Ещё поживём, – отвёл взгляд Мурод. – Пока дойдём, война кончится. Вернёмся тихо-мирно, вот увидишь.

– Твои бы слова да Богу в уши... – вздохнул Раззок-ака. – Говорят же: хоть сорок лет война, умирает тот, кому срок пришёл. Помнишь, в басмаческой войне сколько мужиков полегло, а мы остались? И здесь так будет, верно? Но всё равно жаль Раима с Комилом... Помнишь их?

– Иногда вспоминаю... – Мурод ускорил шаг. – Что толку вспоминать? Смотри вперёд, там видно будет.

Раззок-ака молча пошёл за ним.

Позже от них пришло письмо: по всему выходило, что их определили в рабочий батальон – в тылу, на строительных работах.

– Я же говорил, – сказал Манноп-хромой, услышав это, – что стариков в бой не пошлют. Видать, дзоты им строят. Раззок-ака любил говорить: верблюда на свадьбу зовут не в гости, а воду таскать. Вот сам и стал тем верблюдом.

К весне выяснилось, что пахать землю под хлопок некому. На месте давно вырубленных садов, где даже пни выкорчевали и сожгли в сандалах в лютую зиму, лежали пустые поля. В колхозе был один старый трактор, который, даже работая днём и ночью, не смог бы вспахать всё. Да и ломался он чаще, чем работал. Касим, Пулат и другие парни, что пахали в прошлом году, давно на войне.

На пахоту мобилизовали женщин и подростков. На пригорках землю копали кетменями и сеяли пшеницу. Теперь главной заботой стали хлопковые поля у окраины деревни.

Манноп оказался человеком деятельным. Он бегал между теми, кто пахал сохами, покрикивал, распоряжался, организовывал работу. Никто его на это не назначал. Но, побывав на войне, он считал себя самым передовым человеком в деревне и чувствовал, что его призвание – руководить. Так он надеялся со временем занять какую-нибудь должность, а точнее – стать бригадиром. Его предки были людьми властными, и ему самому нравилось отдавать распоряжения – и делал он это умело.

В один из таких дней, когда он метался между пашущими женщинами и подростками и поваром, варившим аталу²¹, на красной лошади подъехал председатель колхоза – Окил-ака, широкоплечий, с пышными усами, в мягких сапогах. Вид у него был грозный. Председатель расспросил о работе, посетовал, что и качество, и объём вспашки оставляют желать лучшего, пару раз прикрикнул. Но больше всего ему понравилось, как суетится вокруг Манноп-хромой – через слово повторяя: «Сделаем», «Уладим».

«Сразу видно – военную выучку прошёл, – подумал председатель. – Говорит чётко, будто гвозди вбивает, никакой лишней размазни, и руководить умеет. Таких бы людей вокруг себя собрать – и работал бы спокойно, без забот. Ноги нет – да где сейчас найдёшь мужчину с целыми четырьмя конечностями?»

Так, между делом, Манноп-хромой стал бригадиром.

Люди, выходит, его толком и не знали. Стоило ему стать бригадиром – он изменился. Вкусив власть, сразу поставил себя на ступень выше остальных, перестал здороваться как прежде, через губу разговаривал. То ли уговором, то ли подношением выбил себе с колхозной фермы худую лошадёнку и разъезжал на ней. Солдатскую форму тщательно выстирал, кирзовые сапоги начистил до блеска. Бриться стал чаще, длинные усы аккуратно подровнял.

В начале того же лета неожиданно отправили на войну самого председателя Окила. Одни говорили – распродал и присвоил немало колхозного добра, другие – что не выполнил указаний районного начальства. Как бы то ни было, его внезапно сняли и отправили на фронт, и колхоз остался без руководителя. Время было ответственное – хлеб подошёл к жатве, людей согнали в поля, и отсутствие ответственного лица могло обернуться беспорядком.

Секретарь райкома затребовал список вернувшихся с войны. Их оказалось восемь человек, среди них – и Манноп. На собраниях по пахоте и севу на них уже обращали внимание: таких трудно не заметить – в любой толпе военная форма, расправленные плечи, уверенность в себе. Секретарь поговорил с каждым и в итоге признал кандидатуру Маннопа подходящей.

Не прошло и много времени, как Манноп-хромой стал председателем колхоза. Будто всю жизнь на коне ездил, будто родился уже председателем – так задирает нос. Его поведение в пору бригадирства оказалось лишь первыми ростками.

Окил-председатель, при всей своей грозности, видимо, был человеком совестливым – или, может, потому что был из другого села и толком не знал гултепинцев, не давил на них так, как следовало бы. Это люди поняли уже потом, когда его не стало. Манноп же своих знал как облупленных – от младенца в люльке до семидесятилетнего старика. Всех, кто был хоть на что-то способен, погнал на жатву. Его многочисленные родственники, поддерживая «своего», всюду твердили, что государственная политика ужесточается, фронту требуется всё больше продовольствия. Но от этих слов у людей не прибавлялось любви к Маннопу, который, взбравшись им на плечи, размахивал кнутом и, казалось, забыл, что сам вышел из этой же среды.

В степи жатва шла полным ходом. Из-за жары днём работать было невозможно. Поэтому люди жили прямо в поле – с рассвета до темноты. Время было на вес золота: если не убрать вовремя, зерно осыплется, птицы склюют. Около полусотни женщин, девушек и подростков были согнаны на жатву, и председатель запретил им возвращаться домой по ночам. Дорога долгая – на путь уходили лучшие прохладные часы утра и вечера, и к моменту, когда они добирались до поля, солнце уже поднималось высоко.

Манноп каждый день по два раза объезжал поля, проверяя ход работ.

Нормурод с товарищами стал возчиком. Колхоз выдал каждому по телеге и лошади. Их задача – возить скошенное женщинами зерно на ток. Ток находился в низине у кишлака Бешбулак, где свозили урожай и из других сёл, молотили, а затем отправляли зерно в Самарканд.

²¹ Атала — похлёбка.

Но дело шло не так быстро, как хотелось. Манноп-председатель ходил мрачнее тучи, ни с кем не шутил, разговаривал сурово. Люди шептались, что прежнего Маннопа больше нет – власть человека быстро портит. Но кто их слушал? Каждый ворчал про себя, а в открытую перечить председателю никто не смел.

Манноп давно забыл свои фронтовые мысли и клятвы: если вернусь и увижу односельчан, буду их на руках носить. Иногда ему даже становилось стыдно, что он когда-то так думал. «И чего я по этим дуракам скучал?» – удивлялся он сам себе. Те чувства, что переполняли его, когда он глядел смерти в глаза, исчезли. Лишь по ночам возвращались в кошмарах, и, проснувшись в родной деревне, он радовался, что жив, что теперь ему ничего не грозит. А вот злость на односельчан у него не проходила никогда.

Нормуроду досталась старая, разошедшаяся телега. Проедет немного – колесо расшатается. Приходилось возить с собой ведро воды: останавливаться, поливать, подбивать, чтобы дерево разбухло и держалось. Но в степи таскать полное ведро воды тяжело. По дороге вода расплёскивалась – да и у самого Нормурода силы уходили. В итоге за день он успевал сделать всего два, иногда три рейса.

Председатель будто только за этим и следил. То с тока, то от бригадира Тогбеги узнавал, кто отстаёт, и при каждом приезде устраивал разнос. Оправдания слушать не хотел.

Его брань, доносящаяся до самых родительских проклятий, заставляла Нормурода скрежетать зубами, но сделать он ничего не мог. Небо далеко, земля твёрдая, пожаловаться некому. Куда идти? Кому говорить? Кто станет слушать мальчишку? А Манноп Матлабович – так его теперь звали – при каждом разговоре ссылался на политику, на задания товарища Сталина, на то, что война требует хлеба, а каждый, кто не справится, – враг народа и может быть расстрелян. Люди здесь были далеки от политики, но такие слова слушали с тревогой – ещё свежа была память о том, сколько «врагов народа» расстреляли.

Когда гнёт председателя становился невыносимым, мысли о Нигоре приносили Нормуроду утешение. Ему нравилось думать о ней. Когда они изредка разговаривали, он внимательно наблюдал, как она торопливо говорит, как кокетливо хлопает глазами, как морщит своё чёрное лицо. Сам он был неразговорчив, а при ней и вовсе молчал. Нигора же, бойкая на язык, не упускала случая что-нибудь крикнуть ему даже издали. Эти их переглядки и реплики стали развлечением для женщин, уставших от однообразной жатвы.

Когда Нигора уезжала домой на несколько дней – навестить мать, привести себя в порядок, – она возвращалась и работала вместо неё, оставалась на четыре-пять дней. В свободные минуты помогала Фотима-момо, мыла посуду, прибиралась. Многие женщины привели с собой маленьких детей – она и за ними присматривала. Ни минуты покоя.

Зной лета стоял в самом разгаре. В полдень достаточно было простоять под палящим солнцем час-другой – и человеку казалось, что он вот-вот спечётся. Из-за трудности вовремя вывозить скошенный хлеб, по распоряжению председателя возчики работали и в самую жару, не зная передышки.

– Поработаете день-другой на солнце – не помрёте, – сказал однажды председатель при всех. – На войне люди жизнь отдают, а мы тут чуть жары испугаемся и погубим урожай – нам этого никто не простит.

Старый конь, доставшийся Нормуроду, которого по возрасту не взяли на войну, совсем обмяк. Когда другие, выполнив дневную норму, позволяли себе короткий отдых в полдень, он, обвязав голову белым платком, вытирая рукавом закаменевшей от пыли и пота рубахи замазанное лицо, снова наваливал груз и трогался в путь. В такие часы сильнее всего мучила жажда. По дороге он припадал к арыку, пил до отвала – и, не пройдя десятка шагов, снова хотел пить. Пот стекал с него так, словно из мешка с айраном сочилась кислая сыворотка.

Пыль, смешавшись с потом, образовала на его теле плотную корку; стоило почесаться – и она сходила, как кожа, ошпаренная кипятком. Ему всё казалось, что по лицу тянутся длин-

ные полосы грязи. Особенно остро он это чувствовал перед Нигорой – торопливо тёр лицо то рукавом, то поллой рубахи.

– Конь у тебя никуда не годится, – сказала в этот раз Нигора, когда он, вялый, вытирая лицо, подошёл. – Скажи председателю, пусть поменяет.

– Почему-то он меня невзлюбил, – сказал Нормурод, слезая с телеги рядом с ней. – Не пойму, чем я ему насолил. Смотрит так, будто я отца его убил. Разве такой мне коня сменит?

Помимо перевозки хлеба, Нормурод помогал Нигоре вязать снопы из скошенной пшеницы. Иначе девушка могла остаться голодной: тем, кто не выполнял норму, хлеба не давали.

– Мы же, смотри, вяжем ему хлеб, – усмехнулась Нигора. – Отец мой говорил: и у того, кто даёт, и у того, кто не даёт, всё равно попроси. Попробуй сказать – вдруг смягчится.

Вспомнив отца, она притихла.

– Когда домой вернёшься? – сменил тему Нормурод.

– Завтра-послезавтра мама придёт на смену, тогда и уйду. Надоело уже. И жара, и по дому соскучилась.

– Скажи лучше – от работы отлыниваешь, – поддел её Нормурод, сплетая между колен сорванную у обрыва траву в жгут, будто девичью косу, чтобы перевязать сноп.

– Ты обо мне плохого мнения, да? – обиделась Нигора. – Похожа я на лентяйку? Тебе легко: сел на коня – туда, сюда. А ты попробуй здесь, под солнцем, в пыли, день простоять – ещё спасибо скажешь. Девчонки моего возраста сейчас дома, в тени, спят.

– Спасибо... – Нормурод усмехнулся и посерьёзнел. – Сказал и сказал. Думаешь, у меня работа лёгкая?

Он сделал с десятков перевязей и пошёл собирать скошенную пшеницу для вязки; Нигора пошла за ним.

– Спасибо тебе! Хорошо, что ты есть. А то не выполнила бы норму – председатель бы меня избил, так и померла бы тут.

Она подавала скошенные стебли, укладывая на перевязь, Нормурод связывал. Все ушли на обед, только Нигора ждала его.

– Тебе еду оставят? – пожалел её Нормурод. – Иди бы, я сам свяжу и погружу. А то съедят твою болтушку, голодной останешься.

– Тётя Фотима оставит. Если опоздаю, она всегда так делает. Я ведь тоже ей помогаю. Всё время меня своей шустрою девочкой зовёт. А ты меня лентяйкой обзываешь.

– Ну с тобой и слова не скажи... – проворчал Нормурод, затягивая узел. – А если меня на войну заберут, кто о тебе заботиться будет?

– Найдётся кто-нибудь... – пошутила Нигора, но его это задело.

– Вот, значит, как?!

– Да кто тебя на войну возьмёт? Ты же ещё мальчишка!

– Всё равно я тебя на два года старше.

– Из-за этого, что ли, заберут? Не заберут.

– Вон, даже старых колхозных коней забирают, а меня что, пощадят? Мы с ребятами готовимся... Как твоя невестка, справляется? – вспомнив о войне, он подумал сначала о Пулате, потом о его жене Насиме.

– Ей самой едва хватает сил.

Нигора выпрямилась и заметила всадника, приближавшегося к ним.

– Кажется, председатель едет! Манноп-хромой! Сейчас на тебя набросится. Иди, лучше наполни телегу и уезжай.

Услышав это, Нормурод почувствовал, как внутри всё задрожало, но какое-то непонятное чувство подсказало ему, что при девушке нельзя ронять своё достоинство. Он не двинулся с места и сделал вид, что спокойно продолжает работу.

– Ты что тут копаешься?!

Председатель подъехал прямо к ним. Издали он увидел, что телега Нормурода стоит, а сам он занят посторонними делами, и с гневом прищипорил коня.

– Я Нигоре помогал, – постарался твёрдо ответить Нормурод.

– Ты что, дурак? Кто велел ей помогать? У неё что, руки переломаны, ноги отсохли? А ну проваливай отсюда, чтоб я твоей рожи не видел! Тут работа горит, а ты дурыю маешься!

– Не ругайтесь! – Нормурод и сам не понимал, откуда в нём берётся эта смелость. Один на один он стерпел бы ругань, молча ушёл бы, но сейчас не смог.

– Что?!

Председатель давно уже не слышал возражений. Люди боялись его, как смерти. Да и сам он ежедневно выслушивал в районе такие разносы, что считал своим долгом «воспитывать» подчинённых. Тех, кто хоть немного перечил, он безжалостно ломал: либо отправлял на войну, либо лишал припасов на зиму.

– Ты мне перечишь?! Я тебя... твою мать... – не стесняясь девушки, он осыпал Нормурода бранью. – Я тебя, басмачёвского выродка, в один день в тюрьму засажу, сгниёшь там! Понял? Что ты сейчас по деревне ходишь – спасибо мне должен говорить, ноги мои целовать! Другой бы тебя с корнем, с родом твоим выжег! Вместо благодарности ты мне отвечаешь! Недаром говорят: бешеная собака и хозяина кусает.

– Не ругайтесь при девушке, – Нормурод понимал, что не ровня ему, но какая-то упрямая сила лишала его рассудка. – Даже если вы небо в руках держите – думайте, что говорите.

– Эй, ты... – от ярости у председателя задрожали губы, глаза налились кровью. Он замахал руками, ноздри его раздулись.

С войны он вернулся таким: стоило разозлиться – начинал дрожать, терял себя, ничего не видел перед глазами.

– Ты, щенок...

Сказав это и не в силах больше говорить, председатель прищипорил коня, подъехал вплотную к Нормуроду и стал хлестать его плёткой куда попало. От боли Нормурод закричал, прикрывая голову руками. Нигора, растерявшись, стояла в стороне, не зная, что делать, потом спохватилась и кинулась к председателю:

– Не трогайте его, он не виноват! Он мне помогал!

– Ах ты, дрянь, пошла вон отсюда!

Председатель пнул её, и девушка, перевернувшись, упала на комья земли.

Женщины-жницы, обедавшие поодаль, услышав крики, бросились сюда. Пока они бежали, спина Нормурода уже вздулась рубцами от плётки. С криками женщины оттащили его и Нигору в сторону. Председатель, брызжа слюной и ругаясь, развернул коня.

– До каких времён дожили, девочка моя, в чём твоя вина? – причитала тётя Фотима, присев на корточки и крепко обнимая Нигору. – За что он бьёт? В чём твой грех – что ты, ещё ребёнок, работаешь наравне со взрослыми?

– Я уйду, не буду работать. Хоть расстреляют – не буду!

Нормурод, разъярённый, хотел уйти подальше от женщин, но несколько жниц преградили ему дорогу, уговаривая одуматься. После долгих слов он перестал всхлипывать, только носом шмыгал. Плечи и спина горели.

– Я отомщу. Я ему покажу, кто я такой. Он всю жизнь будет жалеть, что поднял на меня руку, этот подлец. Я внук своего деда, не из тех, кто терпит молча. Я отомщу! Я не оставлю его в покое. Я сделаю то, что делал мой дед...

О своём деде он никогда не говорил – отец запретил. Внутри он всегда тайно гордился им, хотя и сожалел, что тот был басмачом, и старался этого не признавать. Но сегодня почему-то открыто почувствовал эту гордость. Это был его беспомощный бунт против власти в лице Маннопа.

Женщины, собравшиеся вокруг, не придали его словам значения. Для них и Нормурод, и Нигора были всего лишь детьми, которые сами не понимают, что говорят.

Голибу пошёл второй год. За ребёнком присматривала бабушка Ойсара. Но сердце Ризвон было беспокойно: всё думала, как бы выбраться домой, узнать, как они там. Бригадир Тогбеги был вспыльчив, груб, ничего не хотел понимать и никого не жалел. Это Манноп, став председателем, назначил его бригадиром. Почему Тогбеги не взяли на войну – никто толком не знал. Одни говорили, что он числится в списках умалишённых, другие – что он записан по документам как женщина. Как бы там ни было, именно этот верзила с рябым, обожжённым солнцем лицом, от которого постоянно разило потом и табаком, был теперь бригадиром в деревне.

Ризвон уже несколько раз просила отпустить её домой – повидать ребёнка и старую свекровь, но он не разрешал. Даже тётя Матлуба вступалась – бесполезно.

– Не время сейчас шастать по домам, – хрипло отвечал он. – Уберёте хлеб – тогда и будете лежать в своих домах.

Ризвон была работающей и красивой. Ни зной, ни тяжёлый труд не смогли приглушить её красоты. Среди женщин она выделялась, как одинокий мак посреди степи.

В тот день, выполнив норму, назначенную Тогбеги, она собиралась помочь свекрови Матлубе, когда, прищипорив коня, подъехал председатель Манноп.

Сначала он переговорил с Тогбеги, расспросил о работе и, как обычно, посетовал на медлительность жниц и леность возчиков. Увидев Нормуроода, который грузил снопы на телегу, он подъехал к нему и, размахивая плёткой, прикрикнул:

– Эй, увалень, что ты делаешь! Все колосья растережешь! Клади внутрь колосом, не топчи, подтяни верёвку! Если по дороге рассыплется – голову тебе сверну!

После недавней порки Нормурод ещё пару дней не мог прийти в себя, а потом снова работал как прежде. Председатель же вёл себя так, будто ничего не случилось. Ненависть, проснувшаяся в сердце Нормуроода, не утихла. От одного его окрика он терялся, руки начинали дрожать – казалось, что вот-вот снова ударит плёткой.

«Все хорошие люди на войне погибли, а этот вернулся, хромым...» – подумал он про себя.

У него была одна особенность: если кто-то стоял над душой и смотрел, как он работает, руки у него переставали слушаться. Так случилось и теперь. Председатель заметил, что у него всё валится из рук, подъехал ближе, но, словно о чём-то задумавшись, вдруг замолчал.

– Сколько раз в день ездешь на ток? – спросил он, наблюдая за работой.

– Четыре-пять.

– Почему так мало? Другие сколько делают?

– До шести. Но у них телеги исправные, кони резвые. У моей телеги колесо старое, если не поливать водой, слетает. Конь у меня тихходный. У Замона такой же – мы одинаково ездим.

Он говорил сквозь зубы, и председатель заметил его взгляд.

– Чини, – сказал тот, услышав имя своего брата и стараясь говорить равнодушно. – Это что, я за тебя должен делать?

Манноп натянул поводья и отъехал к месту, где под старым развесистым кок-султаном варили в котле болтушку. Соскочил с коня, передал повод Тогбеги и, прихрамывая, направился к жницам.

– Смотрите, хромым председатель идёт, – сказала кто-то из женщин. – Гляжу на него – и он мне красавцем кажется. Пока муж жив был, ни на хромым, ни на косых не смотрела.

– Что ты, он и вправду статный парень. И раньше был пригож, и сейчас ничего.

– Да хватит вам, у вас мужья есть, постыдились бы. На калеку глаз кладёте.

– Если б он сейчас сказал: «Пошли», – ты бы сама побежала за ним.

– Типун тебе на язык! Думаешь, я из тех городских потаскух?

– Эх, когда он с войны вернулся, был худой как игла, на лице только нос да глаза. А теперь разъелся, к осени человеком стал.

– Тише вы, услышит ещё, подумает, что из-за него бабы дерутся.

Председатель, важничая, стал расспрашивать о работе.

Ризвон решила попросить разрешения сходить домой. Бригадир ни за что бы не отпустил.

– Раис-ата... – смущённо начала она, не зная, как к нему обратиться. – Я хотела бы домой сходить. Моя бабушка одна с Голибом осталась, уже неделя прошла, я о них ничего не знаю. Если позволите, я бы сходила, посмотрела.

– Кто такой Голиб? – спросил председатель, хотя его занимало совсем другое.

Ризвон смутилась. Она никогда не называла сына «мой ребёнок» при людях – всё ещё чувствовала себя как незамужняя девушка. К тому же она была из соседнего кишлака и не всех здесь знала.

– Это её сын, – вмешалась одна из женщин.

– Хорошо... – протянул председатель и почему-то посмотрел не на Ризвон, а на ту женщину в выцветшем синем ситцевом платье и жёлтом платке. – А почему бы старухе самой сюда не прийти? Люди сюда не на прогулку пришли. Сидит без дела дома – и нам мешать должна?

– В том-то и дело, – поспешно сказала Ризвон, – старая женщина не сможет прийти. Мы беспокоимся... Да и одежду бы постирать.

– О чём ты беспокоишься? В деревне всё спокойно. Я сегодня утром там был.

Председатель внимательно посмотрел на Ризвон – и будто что-то внутри у него оборвалось. То ли раньше не замечал, то ли не придавал значения, но он вдруг увидел, какая перед ним стоит красивая женщина. Большие глаза, глубокий взгляд, округлое лицо, стройная, как тополь. Жара, от которой кипела кровь, и красота Ризвон разбудили в нём тёмное, липкое желание.

На войне, когда делать было нечего, когда сутками лежали в окопах, таскали на себе оружие и, отступая с тревожной мыслью «вот сейчас погибнем», пытались как-то отвлечься, Манноп с Ёдгором часто говорили о женщинах. Тогда этот парень с упоением рассказывал о своей жене – слова у него текли, как мёд. Страшная мысль о том, что домой они, возможно, уже не вернутся живыми, полностью овладевала душой, и потому между ними не было никаких тайн. Ни один из них не хотел уносить с собой в иной мир своё сердечное богатство.

Ёдгор без стеснения рассказывал обо всём, что бывает между мужем и женой, – до самых сокровенных мелочей, с тёплой, сладкой взволнованностью. Он доверял Маннопу, как старшему брату, уважал его. О Ризвон говорил так, будто хвастался перед товарищами после свадьбы. И с тех пор в сознании Маннопа прочно засела мысль: его жена красива и, наверное, не слишком строгих нравов. Ведь то, что рассказывал Ёдгор, Маннопу и во сне не могло присниться с собственной женой. Слушая эти рассказы, он чувствовал себя дураком, который, оказывается, зря считает, что у него есть семья. Тогда же он твёрдо решил: если вернётся домой живым, будет жить с женой так, как рассказывал Ёдгор.

«Ёдгор, может, и по колено в крови на войне ходит, по чужим землям скитается, но он счастлив – у него такая жена. Почему эта женщина не моя? Талия тонкая, никто и не скажет, что замужем, что ребёнок есть – как шестнадцатилетняя девчонка. Обнимешь – в объятиях исчезнет. А лицо – гладкое, светлое...»

Глядя на Ризвон, председатель словно мысленно коснулся её лица ладонями, и сердце его сладко зануло. Он уставился на неё, не мигая.

Женщины, стоявшие поблизости, тоже заметили, каким откровенным взглядом он пожирает Ризвон.

– Всё-таки... – начала Ризвон и запнулась. Почувствовав на себе его бесстыдный взгляд, она растерялась.

– Ладно, – сказал наконец председатель, с удовольствием замечая её смятение и вновь ощущая собственную значительность. – Иди. Только не задерживайся. Можешь прямо сейчас отправляться.

Ризвон поблагодарила, передала серп подруге, наспех поправила платок и пошла.

Жара стояла такая, что над полями поднимался зной, как из раскалённой печи. Пыль, поднятая в хлебах, висела в воздухе и мешала дышать. Со всех сторон стрекотали кузнечики.

Ризвон ушла. Жницы собрались обедать в тени старого коксултана. С раннего утра, махая серпами, они измотались, и лёгкий ветерок под деревом приносил сладкое облегчение.

– Всё-таки и в жизни бывают такие минуты, а! – сказала одна из женщин, усаживаясь на пучки сухой травы и снимая платок, чтобы вытереть пот со лба.

– А муж твой? – поддела её Рухсат, жена Пайзи. – Дети у тебя, что ли, от света родились?

– Ты о чём болтаешь? – та не поняла шутки.

– Муж с женой – как пара волов: если он рядом, помогает, делит тяготы – вот тогда и есть вкус жизни.

– Да что с вами такое? Совсем по мужикам истосковались, – прикрикнула повариха тётя Фотима.

– А что нам делать, тётя? Больше года прошло, а мы о них и сидя, и стоя думаем. Разве стыдно вспоминать мужей? – серьёзно сказала Рухсат.

– Терпеть надо, – ответила Фотима и прикусила язык, не желая читать длинную нотацию.

Председатель издали наблюдал за женщинами и, сам того не желая, признавал, что им тоже нелегко, что вся тяжесть жизни легла на их хрупкие плечи. Но по должности он не мог никого жалеть – положение не позволяло. И потому мысленно укорял их: «И разговоры у них... Сейчас кому легко? А у этих на уме одно – мужики...»

Так, борясь с самим собой, он подошёл к Тогбеги. Тот, заметив, что председатель краем уха прислушивается к женским разговорам, решил, что он считает снопы, и сказал:

– Урожай, по-моему, неплохой. Весной дождей много было, потому хлеб хорошо взошёл. Говорят только, виноград в этом году неважный, цвету мало. Сам не смотрел – времени нет.

Председатель понял, что тот несёт чепуху, но о чём именно – не вникал: мысли его были заняты другим.

– Эй, ты! – рывкнул он вдруг. – Знаешь ведь, что на эту должность я тебя сам рекомендовал?

– Знаю, знаю! – засуетился Тогбеги, не понимая, к чему клонит председатель.

– Раз так – работай, глядя в оба. Иначе в один день отправлю на войну – и не вернёшься, вороны твои кости обглодают.

Тогбеги растерялся, не понимая, в чём провинился, и стал суетливо крутиться вокруг председателя. Трудно, когда твоя судьба зависит от такого человека, когда жизнь твою решает этот грубиян. Он подумал об этом, но смолчал. Что поделаешь – небо далеко, земля твёрда. Жить хочется, умирать на чужбине страшно, и ради того, чтобы не попасть на войну, он был готов стерпеть любое унижение.

– За жницами смотри, – продолжил председатель тем же тоном. – У тебя мысли нехорошие. Услышу, что с какой-нибудь женщиной связался – пеняй на себя, понял?

– Да вы что! – изумился Тогбеги. – Мы вам слова не скажем, Манноп-ака. Я с детства женщин не люблю, вот и гоняю их, ругаю.

– Я тебя предупреждаю. Потом не говори, что не сказал. И за теми мальчишками-возчиками следи. Если к какой женщине приблизятся – сразу мне сообщай.

– Да они же дети!

– Какие дети? Будь начеку. Пока мужики с войны не вернулись, чтобы тут у нас сами от себя не расплодились. Мне лишние разговоры ни к чему. Видел, на днях тот басмачев сын,

Нормурод, к дочери Раззока-ака привязался – я со злости его и отлупил. Носы ещё не высохли, а уже друг другу помогают!

– Да я строго слежу... – Тогбеги так и не понял, чем именно разгневан председатель.

Председателя тревожило настроение женщин. И вовсе не из-за чести его фронтовых товарищей. В деревне единственным мужчиной он признавал только себя. Остальных считал либо стариками, либо мальчишками. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что все женщины в деревне принадлежат ему одному. И он начал ревновать их к любому – к мальчишке, к старику.

Теперь же его намерение испортилось: он выжидал, когда Ризвон отойдёт подальше. Как только она окажется в месте, где их не видно, он собирался нагнать её и запустить руку ей за пазуху.

С войны он вернулся недавно. За это время в нём выросла самоуверенность. Из-за того, что в деревне почти не осталось мужчин, он стал считать себя самым видным парнем, способным на всё, тем, от которого у всех за спиной вырывается восхищённое «ух». Счастливая птица, внезапно севшая ему на голову, оглушила его. Ведь колхоз – это не одна Гултепа, вокруг ещё семь таких деревень. Раньше он разве командовал четырьмя-пятью людьми? А теперь судьбы стольких были вверены ему – и он потерял меру.

Особенно переменялись его мысли о женщинах. Человек, который прежде не позволял себе ни слова в сторону чужой жены, вдруг опьянел от того, что под его властью оказались столько женщин без мужей. Он забыл, что его «сила» – лишь следствие их отсутствия. Напротив, ему казалось, будто всего этого он добился собственным достоинством, будто в округе нет никого умнее, твёрже, сильнее его. И даже обижался на людей за то, что раньше они будто бы не замечали в нём этого «таланта».

И вот этот человек внезапно проникся к Ризвон. Нет, в его чувстве не было ничего возвышенного. Человек, к которому, стоит только позвать, готовы припасть тысячи женщин, не способен любить искренне, связывать себя с одной единственной самым чистым чувством. Такие больше преданы себе, любят себя, не замечают никого вокруг. И он был именно таким.

Ризвон показалась ему красивой и вместе с тем кроткой, словно придавленной тяжестью жизни. Так оно и было, но никто не просил, чтобы председатель пришёл и облегчил эту тяжесть – тем более так, как он это понимал. С присущей ему самодовольной важностью он подумал: «Сделаю эту женщину счастливой хотя бы на одну ночь. Пусть и она, бедняжка, почувствует, что такое счастье в этой жизни».

Мысль о том, согласится она или нет, даже не мелькнула у него в голове. Ему казалось: стоит ему произнести одно слово – любая женщина ради него пойдёт на всё.

Когда председатель, пустив коня в рысь и подняв тучу полевой пыли, нагнал её, Ризвон вздрогнула и, несмотря на простор поля, поспешно отступила в сторону, уступая дорогу ему и коню.

– Сын твой как? – спросил он с напускной важностью, не зная, с чего начать.

– Хорошо, – ответила Ризвон. Она уже давно почувствовала, что мысли у председателя недобрые, и потому насторожилась, разволновалась, не зная, как отвечать, если он скажет что-нибудь постыдное.

– Может, на коня посажу? – голос его изменился. – А то ножки у тебя нежные, устанут.

Ризвон прошиб холодный пот, по телу будто побежали мурашки.

– Не надо, – сказала она, делая вид, что не понимает намёка.

– Твоё дело. Моё – предложить, – председатель подвёл коня ближе и, слегка наклонившись, заговорил. – Давно уж мужа нет. Пишет хоть?

– Один раз писал... Давно уже. Четыре месяца, кажется.

– Давно... Тебе ведь тоже тяжело. Возраст у тебя – играть, смеяться, радоваться, а ты одна. Столько времени одна... Жизнь-то быстро проходит.

– Почему одна? Бабушка, тётка, Голиб...

– Ты не поняла... Женщине мужчина нужен. Без мужчины она как помешанная становится. Я это знаю. Наши бабы не скажут, а вот русские женщины – они не стесняются, всё прямо говорят. Ты тоже скажи. Я не из тех, кто треплет языком. – Он нагло ухмыльнулся.

Ризвон поняла, к чему он клонит, но продолжала делать вид, что не понимает. От последних слов её пробрал холод. Никто ещё не позволял себе таких постыдных намёков. Ей и в голову не приходило, что так можно разговаривать.

Она молчала. Этого человека она уважала, считала почти старшим братом – он был старше и её, и её мужа. Особенно после того, как, вернувшись с войны, он принёс весть о Ёдгоре. Тогда её свекровь ходила к нему, и он рассказал, что её внук жив, что они ехали в одном вагоне, вместе попали на фронт, что в одном бою сам он лишился ноги, а Ёдгор продолжал сражаться, что выучил русский, что командиры его уважают. С тех пор уважение Ризвон к этому человеку только выросло: стоило ему показаться вдали, как в её сердце возникало тёплое чувство, будто она увидела родного отца.

И вот этот человек, которого она почитала как брата и отца, теперь уставился на неё мёртвым, бычьим взглядом и разговаривал с ней так, будто она уличная женщина. Почему? Разве она сказала что-нибудь лишнее? Разве дала повод? Она ведь просто идёт молча.

Ризвон на миг захотелось проклясть его, но что-то внутри удержало её. Он начальник – в один момент может опозорить. А она – беспомощна, что она может? Время не то, чтобы перечить власти. И при всём том, несмотря на неловкость и стыд, где-то в глубине её сердца шевелилось странное, непонятное желание – не оттолкнуть его. Слабый огонёк, как лампадка в тёмной ночи, готовая вот-вот погаснуть.

Ризвон не была дерзкой или бесстыдной. Она никогда не поднимала глаз на старших. Скромная, кроткая, даже среди женщин краснела, когда речь заходила о мужчинах. Но откуда же взялось это странное чувство? Она понимала, что слова председателя постыдны, что за них впору плюнуть ему в лицо, но тот мерцающий огонёк не позволял ей сказать что-то резкое. И потому, словно не слыша его слов, она шла, опустив голову.

– Не думай, что я плохой человек, бабник, – осмелел председатель, думая про себя: «Умрёшь, а не откажешь, просто не знаешь, как согласиться». – Я тебе добра хочу. Не проходи эту жизнь вот так. Потом, состаришься – пожалеешь.

– Он скоро вернётся... – сказала Ризвон, сама не понимая, к чему это. Тот странный огонёк в душе понемногу разгорался.

– Ты не обижайся, но скажу правду: из этой войны люди живыми не возвращаются. Это не война, это конец света. Кто туда попал – назад не выйдет.

– Но вы же вернулись!

– Мне повезло. Да и то – ногу отдал. Другим и этого не дано. Это не та война, что была у наших предков, не сабли да ружья. Я же сказал – конец света... Там свинцовые угли мимо ушей свистят, голову поднимешь – насквозь прошьют. Бомбы падают прямо на людей, рвут их, как мясо под топором.

Он запутался, не зная, как объяснить этой простой женщине ужасы фронта, понимая, что его слова и тысячной доли пережитого не передают. Вдруг он спохватился, что ушёл от главной темы, и попытался вернуться.

– Я к тому... Не подумай, что дурное говорю, но сомневаюсь я, что Ёдгор вернётся. Напрасно ждёшь.

– Не говорите так! – это задело её за живое.

– Я никому зла не желаю, но в такой войне смерти трудно увернуться... Ладно, – резко сменил он тон, – нам надо спокойно поговорить. О жизни, о радостях и бедах. Мне много чего сказать хочется.

Ризвон стало не по себе. Она понимала, к чему снова клонит разговор, и потому молчала, спотыкаясь о кочки и траву.

– Чего молчишь? Ты знаешь, сколько женщин ждут моего слова? Я ведь не всем такое предлагаю. Ну что, когда встретимся? Хочешь – прямо сейчас...

Ризвон отступила в сторону.

– Чего испугалась? Я что, такой страшный? – засмеялся он.

– Не говорите со мной так. У меня муж есть... – сказала она почти со слезами. – Я вас никогда таким не считала.

– Думаешь, снаряд только ногу мне оторвал? – хмыкнул он. – Ошибаешься...

– Не говорите со мной так! – наконец не выдержала Ризвон. – Если вы председатель – оставайтесь им. Не вынуждайте меня говорить вам тяжёлые слова.

– Эх-хе, да ты, оказывается, с норовом, – председатель растерялся от её слов, но постарался этого не показать. – Я и сам таких люблю. Как дикая лошадь... Лошадь, если её не объезжать, совсем дичает, потом и в руки не даётся. Но ничего, вся прелесть как раз в этом – приручить, сломить её упрямство.

Ризвон, не отвечая, зашагала быстрее и ушла вперёд. Председатель, придерживая поводья, некоторое время смотрел ей вслед. По тому, как она спотыкалась и сбивалась с шага, было видно – она сердится, нервничает. Её красота, её прямая осанка снова поразили Маннопа, и сердце его сладко заныло. На миг ему захотелось догнать её, схватить где-нибудь в овраге, но мысль о том, что женщина может оказать сопротивление, а он со своей деревянной ногой не справится и опозорится, остудила его. Рисковать так, когда дело почти в руках, значило всё испортить. Всё-таки быть председателем колхоза – не пустяк.

«Всё равно однажды будешь моей, – подумал он, резко дёрнув повод. – Посмотрим, надолго ли хватит твоих капризов».

Председатель был уверен: теперь она день и ночь будет думать о нём. Два года она жила мыслями о муже – это уже приелось. Женщине время от времени нужны новые чувства. Особенно в такую пору однообразия, скучной жизни, когда и души, как эти поля, трескаются, вянут, высыхают. Её обида – «я от вас такого не ожидала» – лишь минутная. Это сказано под влиянием мгновения. Потом пройдёт. Сейчас ей просто неловко от неожиданности, а дальше – она сама станет ждать. Обязательно станет. Такова человеческая натура.

С чувством выполненного дела, довольный и странно облегчённый, Манноп повернул коня к току.

И вправду, слова председателя лишили Ризвон покоя. Она не знала – обижаться ей или радоваться. Когда женщины на поле говорили о председателе, многие при этом мечтательно причмокивали, а она сама никогда не обращала на него внимания и даже мысли не допускала, что между ними может быть что-то общее. Ей казалось, что он её и не знает. Разве у него мало забот, кроме неё?

Думая о том, как многие молодые женщины, завидев председателя, провожают его взглядом и тяжело вздыхают, Ризвон вдруг ловила себя на странной радости: значит, она ещё не совсем угасшая женщина, если способна зажечь мужское сердце. И среди стольких женщин – именно она. Но была и другая сторона: она замужем, у неё есть честь, стыд. В мире, где женщину готовы заклеить за одно лишнее слово с чужим мужчиной, чем тут гордиться? Люди камнями забросают.

Ризвон словно оказалась меж двух огней.

Даже придя домой и увидев давно соскучившегося сына, она не смогла прийти в себя. Свекровь, Ойсара-момо, решила, что невестка приболела, но, получив отрицание, списала всё на усталость и тоску.

И впрямь, бесчеловечный труд давал о себе знать. Скучная еда – днём жидкая похлёбка, утром и вечером чай с лепёшкой. Ни часа отдыха – с рассвета до темноты, лишь бы колосья не осыпались. Душевные муки – унижение, когда тебя не считают за человека, когда какой-то бригадир Тогбеги может орать и бить, как собаку. Неизвестность впереди – что ещё приготовила судьба? Вернутся ли с войны мужья, сыновья, отцы? Чтобы вынести всё это и идти дальше, нужна была гора терпения. Но для Ризвон и этого оказалось мало – к этому добавилось ещё одно чувство. То ли любовь, то ли ненависть – она сама не понимала. Что-то спаянное из этих двух.

В тот день она осталась дома. После случившегося идти на работу не было сил. Она выстирала бельё, выкупала сына, сама вымылась, причесалась и снова стала мягкой, привлекательной женщиной. Глядя в зеркало, она вдруг поймала себя на мысли: «Вот бы председатель увидел...» – и тут же устыдилась. Отчитала себя: муж на войне, а она думает о чужом мужчине – да ещё о грубом, рябом, хромом! Разве он стоит и мизинца её статного, могучего мужа? Почему же не может выбросить его из головы?

С этого дня началась её внутренняя борьба.

Иногда ей хотелось убить председателя за то, что он украл её покой и превратил её тихую жизнь в ад. А иногда – в долгие, скучные часы работы – она, думая о нём, забывала о времени и усталости и ловила себя на странной радости.

Чем она гордится?

Неужели из стольких женщин председатель выбрал именно её? Значит, она красивее всех? Разве можно не радоваться этому? А вдруг он смотрит на неё как на обычную распутную женщину?

Ризвон не могла прийти ни к какому выводу.

Через день, когда солнце поднялось на высоту двух тополей, она вернулась на жатву, и Тогбеги встретил её в ярости, замахнулся кнутом. Хорошо, что свекровь оказалась рядом и успела их разнять.

– Сука! – орал он, трясясь от злости. – Все работают, а эта шляется! Две ночи где была? В чьей постели валялась?

Тогбеги был из тех, кто не стесняется в выражениях. Власть, данная ему председателем, он использовал сполна. Стоило ему разозлиться – он пускал в ход кнут. Жаловаться было некому. Куда идти? К председателю? Он же сам его назначил, зная, на что тот способен. Выше – в райком? Говорили, там ещё хуже, мягкости не терпят. И женщины это чувствовали всем сердцем: жестокость стала государственной нормой. Оставалось только терпеть.

К вечеру слова бригадира тяжёлым камнем лежали у Ризвон на душе.

Председатель стал чаще приезжать на поле. Раньше по два-три дня его не видели – отдавал распоряжения с тока. Теперь же он приезжал регулярно. Он ругал Тогбеги, но доверял ему, зная, что тот глуп, но исполнительен и до смерти боится фронта. Поэтому, бывая в других деревнях, он обязательно заезжал и сюда – туда, где работала Ризвон. Иногда приезжал по два раза в день и подолгу задерживался: то прикрикнет на кого-то, то пошутит, то расскажет женщинам военные истории, доводя их до слёз. Цель у него была одна – расположить к себе Ризвон, завоевать её внимание.

– Неужто наш председатель стал мягче? – как-то сказала одна из жниц. – Раньше только и знал, что кричать.

– Он тоже не слепой, видит, как людям тяжело.

– По-моему, он в кого-то влюбился. Оттого и смягчился.

Женщины бесконечно судачили о председателе. Любой разговор так или иначе сводился к нему. Кто-то хвалил, кто-то ругал, но без него разговор казался пресным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.